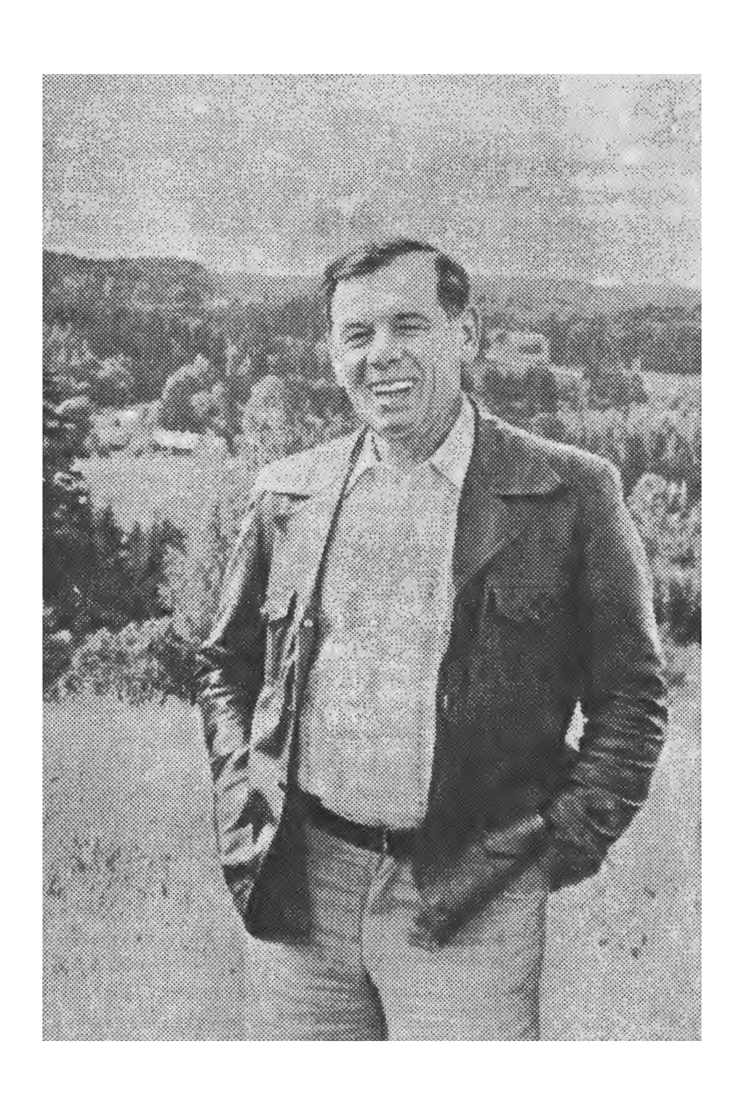
Георгий
ЖЖЕНОВ

От „Глухаря“ до „Жар-птицы“

Георгий
ЖЖЕНОВ



Георгий
ЖЖЕНОВ



Повесть и рассказы

Москва
«Современник»
1989

ББК 84Р7
Ж65

Жженов Г. С.

Ж65 От «Глухаря» до «Жар-птицы»: Повесть и рассказы.— М.: Современник, 1989.— 160 с.— (Новинки «Современника»).

ISBN 5-270-00724

Народный артист СССР Георгий Жженов в 1938 году был арестован по ложному обвинению и провел в тюрьмах, лагерях и ссылке свыше пятнадцати лет Этим тяжелым годам посвящены повесть и большинство рассказов его автобиографической прозы.

Ж $\frac{4702010200-099}{M106(03)-89}$ **без объявл.** **ББК84Р7**

ISBN 5-270-00724

От автора

До недавнего времени все, кого интересовало мое прошлое, при встречах на улицах, в театре, в поездах и самолетах, на творческих вечерах и особенно в своих письмах мне, касаясь периода моей жизни на Севере, спрашивали: «Скажите, Георгий Степанович, вы поехали на Колыму и на Таймыр по комсомольской путевке?»

Потом — уже после публикации рассказа «Саночки» в журнале «Огонек» и книжки «Омчагская долина», вопрос стал звучать иначе: «А за что вас посадили, Георгий Степанович?»

И хотя большинство спрашивавших не хуже меня знали, что репрессиям подвергались миллионы безвинных, мой ответ: «Ни за что»— никого не устраивал. В таких случаях мне отвечали: «Вы нас не так поняли, мы верим, что вы не виноваты, что вы не враг народа... Но мы хотим знать конкретный повод, по которому из вас — двадцатидвухлетнего — состряпали «государственного преступника»! Что это было? Неосторожно оброненное слово, рассказанный анекдот, «опасное» знакомство, донос или что другое?..»

В предлагаемых читателю записках я пытаюсь извлечь из недр моего прошлого события более чем полувековой давности.

Пытаюсь воскресить, вытащить из архивов пережитого страницы жизни, давным-давно прочитанные, перевернутые быстро бегущим временем и похороненные в бездонных кладовых забвения...

Единственным и не всегда надежным помощником в этом мучительно трудном деле, затеянном мною на восьмом десятке лет, является память.

Человеческая память — гигантский музей, хранящий в своих «запасниках» все невостребованное временем, все забытое!..

Никаких других источников, по которым я мог бы сверить собственную память с действительностью, с фактами чудовищного произвола властей, в моем распоряжении нет. И спросить некого...

Один за другим уходят из жизни последние свидетели — человек не вечен! Годы, проведенные в царстве ГУЛАГ не способствуют долголетию... Среди товарищей по несчастью я был один из самых молодых тогда.

До ареста дневников или записных книжек не вел. Всегда хотел, неоднократно давал себе обещания записывать самое интересное и существенное, даже начинал, но дальше начинаний, как правило, дело не шло,— легкомысленно надеялся на свою молодую память.

Позже — в заключении, когда еще жива была надежда на возвращение, когда особенно хотелось запомнить все, что происходило со мной и вокруг меня, чтобы когда-нибудь на свободе рассказать обо всем людям,— вести дневниковые записи, а тем более хранить их было равносильно самоубийству. В то время обнаруженный при обыске автомат, тайно хранимый заключенным, грозил бы последнему меньшей карой, нежели найденные при нем записи, сделанные из-за «колючей проволоки»...

В годы лагерного произвола увековеченных слов боялись больше, чем оружия. И не без основания: все беззакония всегда творились скрытно от народа! Тайну преступлений оберегают тщательно — нарушителей и свидетелей не щадят.

Итак, надежда только на собственную память...

Началом всех несчастий в нашей семье явился роковой декабрь 1934 года, когда был убит Сергей Миронович Киров.

В эти скорбные для ленинградцев дни, университет, в числе других предприятий и организаций города, отдавал последний долг памяти партийного лидера, тело которого было выставлено для прощания в Таврическом дворце, недалеко от Смольного.

Стояли сильные декабрьские морозы...

Мой брат Борис, студент механико-математического факультета университета, обратился к комсоргу своего курса с просьбой разрешить ему остаться. Показав на свои разбитые ботинки, он сказал: «Если я пойду в Таврический дворец, я обязательно обморожу ноги. Какой смысл?— Кирову это не поможет».

Комсорг донес об этом в комитет комсомола универ-

ситета, несколько извратив слова брата. В его редакции они выглядели так: «От того, что я пойду прощаться, Киров не воскреснет».

Последовало немедленное исключение его из университета. И как следствие этого — лишение прописки, то есть права жительства в городе Ленинграде.

Почти весь 1935 год брат обивал пороги Верховной прокуратуры СССР в Москве, протестуя против несправедливого исключения.

В конце концов его восстановили в правах студента, и он вернулся в Ленинград. А в декабре 1936-го почтальон принес повестку, обязывающую брата явиться в Управление НКВД на Литейном проспекте.

Несколько дней этот зловещий листок лежал на комоде, рождая в каждом из нас безотчетный страх и недобрые предчувствия, словно похоронка.

В назначенный в повестке день, 5 декабря (день Сталинской конституции!), Борис, не заходя в университет, ушел в «Большой дом». Домой он оттуда не вернулся никогда!

По неправедному приговору Ленинградского областного суда, в мае 1937 года, его осудили на семь лет за «антисоветскую деятельность».

Перед отправкой на этап нам с матерью было разрешено свидание с ним. Без жгучего стыда не могу вспоминать свое поведение в тот день.

В комнату свиданий, разделенную зарешеченным барьером, отделяющим заключенных от посетителей, ввели брата... Взглянув в его лицо, за месяцы тюрьмы приобретшее характерный землистый цвет,— в его внимательные, умные глаза, выражавшие одновременно и радость встречи и притаившееся в глубине страдание, тщетно скрываемое им,— меня вдруг захлестнула такая обжигающая душу жалость... Захотелось немедленно предпринять что-то... Утешить его, подбодрить, вселить надежду...

Не найдя ничего более умного, я понес какую-то жуткую околесицу насчет добросовестного труда, вознаграждаемого в нашей стране... Бормотал жалкую несусветную чушь из арсенала пропагандистских «сказок про белого бычка»... «Не отчаивайся,— говорил я ему,— постарайся хорошо работать в лагере. Твои семь лет проскочат за два-три года... И не заметишь, как выйдешь на волю. Тому, кто добросовестно и хорошо работает, каждый день засчитывается за три... Труд — великая сила, в

нашем государстве особенно! Только возьми себя в руки, забудь обиды и работай... Все будет хорошо!»

С каждым моим словом Борис мрачнел все больше и больше, уходил в себя... В его жестком взгляде, устремленном на меня, читались стыд и презрение. Наконец он не вытерпел: «Пошел вон отсюда, болван! Позови мать».

Господи!.. Какой я еще был мальчишка, теленок, смотревший на мир сквозь «розовые очки»!.. Да и не я один — большинство были такими. Так нас воспитали лицемерные вожди! Жизнь страны мы воспринимали прежде всего через ликование первомайских площадей, через физкультурный, хоровой энтузиазм праздничных стадионов!..

С искренней верой и простодушием мы лихо распевали побасенки Лебедева-Кумача... Мы многого не знали! Не знали, не ведали, что в стране, «где так вольно дышит человек», тюрьмы уже под завязку набиты сотнями тысяч таких же, как и мы, ликующих жертв.

Последнее прощание с братом каленым железом вечно жжет мою совесть!

Дома, когда мы вернулись со свидания, мать показала несколько исписанных листков папиросной бумаги, переданных ей Борисом тайно от надзирателя при прощании. Она нашла их на дне корзины, в которой носила ему передачу.

— Вот, сынок, прочти!.. Боря передал.

Очень мелким, убористым, но хорошо разборчивым почерком, экономно используя каждый сантиметр дефицитной бумаги, Борис хладнокровно анализировал ситуацию, в которой оказался он и другие заключенные.

Он почти не писал о себе, не жаловался. Со свойственным ему аналитическим складом ума, он, как хирург, вскрывал весь ужас увиденного и пережитого в застенках внутренней тюрьмы НКВД... Рисовал картину полной беззащитности арестованных перед произволом слепой силы, когда тщетны любые доводы разума и логики, когда из подследственных издевательством и пытками выбивают угодные следствию «признания» и «показания», достаточные для последующего осуждения.

Писал он и о самих методах, применяемых на Шпалерке, сравнимых разве что с методами гестапо, о которых охотно сообщали наши центральные газеты, как о примерах чудовищного вандализма и надругательства над человеческой личностью.

Борис, рискуя жизнью, задался целью передать на свободу предостережение всем, кто еще обольщался благородной деятельностью органов НКВД по «выкорчевыванию врагов народа». Всем, кто мог оказаться в его положении (а мог оказаться каждый!), он пытался раскрыть глаза на истинное положение дел в этом ведомстве.

Но все это я понял гораздо позже... Тогда же прочитанное показалось мне невероятным и страшным. Показалось настолько неправдоподобным и кошмарным, что я усомнился в психическом здоровье брата: только воспаленный ум мог родить такие мрачные фантазии. Бедный Борис!.. Наверное, нервное перенапряжение, вызванное атмосферой тюрьмы, так печально повлияло на него.

Потрясенный, я тут же под неодобрительным взглядом матери в страхе сжег его записки в печке.

— Напрасно, сынок, напрасно... Прочитал бы как следует, повнимательнее. Кто знает, может, и пригодится в жизни.

Слова матери оказались пророческими. Очень скоро я убедился в этом.

Сразу после осуждения брата со всех нас, живших в одной квартире с ним, сначала была взята подписка о невыезде из Ленинграда, а вскоре, летом 1937 года, последовала и высылка в Казахстан. В ответ на мой отказ уехать мне было заявлено: «Не поедешь — посадим!»

Ровно через год свое обещание НКВД сдержало.

В 1943 году, в Воркуте, не выдержав непосильной работы в угольной шахте, Борис умер от дистрофии.

После реабилитации, приехав в Воркуту, я пытался установить место захоронения брата. Получил справку: «Умер в мае 1943 года. Место захоронения не сохранилось в связи с бурной застройкой города».

В возрасте тридцати лет ушел из жизни еще один честный, талантливый человек, который мог стать гордостью России, вторым Королевым, не случись беды.

С начала тридцатых годов Борис был одержим идеей создания реактивных двигателей. Учась в университете, он сутками просиживал над расчетами и чертежами... Единственной его страстью была математика! И, конечно, не случись преступного ареста, он нашел бы в конце концов дорогу к своим единомышленникам, к группе Цандера — пионерам ракетной техники.

Бездарные правители, подмятые полусумасшедшим

Сталиным, погубили еще один светлый ум, загубили еще одну бесценную человеческую жизнь!

Мой брат был скромным, чистым, честным человеком, и никакой суд не убедит меня в его виновности. Первые двадцать два года моей жизни прожиты вместе с ним — кому, как не мне, знать его!

В настоящее время в прокуратуре СССР находится наше заявление о пересмотре «дела» брата, о посмертной реабилитации его честного имени.

Недавно, перебирая старые бумаги, я наткнулся на черновик «протеста-жалобы», написанной мною в свое время и отвергнутой начальством по причине «непочтительности тона», допущенного в адрес органов НКВД.

Мне неожиданно пришла идея: а не поместить ли эту «протест-жалобу» вместо предисловия, удовлетворив тем резонное любопытство всех, кто интересуется детективной стороной семнадцатилетнего периода моей жизни на Севере?.. К тому же такой вариант придаст и некоторую документальность предисловию, что никогда не лишне, когда пишешь о себе. Я решил опубликовать.

Невольно вспомнилась и вся история написания этой жалобы... Норильск... Осень пятьдесят третьего. Уже позади смерть Сталина, низложение Берии и иже с ним... Уже сменилось правительство. И только в судьбе ссыльных попрежнему никаких перемен, никаких надежд... И вдруг вызов в МВД Норильска.

— Жженов! Пиши жалобу о снятии с тебя ссылки.— Это говорит полковник МВД, начальник отдела по делам ссыльных.

После долгой паузы отвечаю:

— Никаких жалоб никогда не писал и не буду писать. Я прошу не пощады, а восстановления справедливости... Протестов и заявлений за пятнадцать лет написал сотню — и все без толку!

— Пиши в сто первый раз.

— Не буду. Надоело. Не верю вам... Никому не верю.

— Как знаешь!.. Нравится быть ссыльным — пожалуйста! Уговаривать не буду, живи как знаешь.

Полковник был далеко не из худших. Поговаривали, что он работал в центральном аппарате НКВД. После конфликта с Берией угодил в Норильск. Норильск для него — своеобразная ссылка, опала, и здесь он нередко действовал по-человечески.

Однажды дирекция театра сдуру поувольняла всех ссыльных артистов из театра, как политически неблагонадежных... Полковник вступился за нас, своих «подопечных», и заставил восстановить всех.

Другой случай.

Режим содержания ссыльных в Норильске обязывал нас являться на свидание к «куму» два раза в месяц.

В эти дни, на глазах у всего города, независимо от погоды, мы часами простаивали в очередях, напоминавших нынешние позорные очереди за водкой, чтобы, сунув в открытое оконце конторы свой «конский паспорт», получить его обратно с отметкой «явлен», удостоверенной собственноручной подписью «кума». Надо ли говорить, как норильская ссылка ненавидела эти числа месяца!..

Нежданно-негаданно мне крупно повезло, благодаря полковнику. Он истинно по-королевски отблагодарил меня за фотографии его детей, снятых мною.

Когда я категорически отказался от предложенных за работу денег, полковник взял мое удостоверение ссыльного и в фразе «Обязан каждое первое и пятнадцатое число месяца являться на отметку» вычеркнул пятнадцатое число!.. О большем подарке я и не мог мечтать! На радостях пошутил тогда: «Может быть, вы заодно и первое число вычеркнете?..» — «Сие не в моей власти!»

Заявление я в конце концов написал. Писал долго, обстоятельно. Мучительно вспоминал малейшие подробности, как предшествующие аресту, так и происходившие потом. Называл все своими настоящими именами. Не забывал и о том, что многим рискую, не стесняясь в выражениях.

Полковник прочитал написанное и сказал:

— Слушай меня внимательно. Твою дальнейшую судьбу буду решать не я, наблюдавший тебя эти годы и как артиста и всяко, будут решать другие люди. Поэтому пойми следующее: «заявление-протест» для них единственный источник сведений о тебе. По нему будут судить о тебе настоящем, каков ты есть сейчас, после пятнадцати лет репрессий. И примут то или иное решение. Резким тоном своего заявления ты вредишь себе и никому больше... Нельзя все валить в одну кучу!.. Обвинять в преступлениях всех, кто служил и служит в органах. В органах такие же люди, как и везде. И хорошие и плохие — всякие. Далеко не все приветствовали методы

Берии и его компании... Многие поплатились за это. Ты ничего об этом не знаешь!.. Нельзя огульно судить всех — это несправедливо. Своим «протестом» ты оскорбил и меня! А я служу в органах не один и не два десятка лет... Нельзя так! Иди и перепиши все, начиная с заглавия... Протестующее начало в твоем «сочинении» неприятно превалирует над всем остальным... А для комиссии ты — понимающий желаннее, чем ты — протестующий! Понял меня?

Только с третьего захода полковник принял наконец «заявление-жалобу», пожелав мне «ни пуха ни пера».

Через полгода меня освободили из ссылки. Я покинул Норильск и вернулся в Ленинград.

А 2 декабря 1955 года определением военного трибунала Ленинградского военного округа я был дважды реабилитирован и в возрасте тридцати восьми лет начал свою профессиональную жизнь актера сызнова, как говорится — с нуля!

Начальнику Управления МВД гор. Норильска тов. Дергунову.

Ссыльный-поселенец Жженов Г. С. Норильск. Драм. театр.

ЖАЛОБА-ЗАЯВЛЕНИЕ

Убедительно прошу вас содействовать мне в хлопотах о снятии с меня ссылки.

В ссылке нахожусь пятый год. Четыре года работаю в Норильском драматическом театре, артист.

Добросовестность моей работы может быть подтверждена производственной характеристикой, моей трудовой книжкой и отзывами зрителей.

Женат. Дочь, 1946 года рождения, находится в Ленинграде, у моей матери.

Матери 74 года. Жизнь ее держится лишь на надежде увидеть наконец своего сына свободным. Тем более что я единственный из трех сыновей, оставшихся в живых после войны. Старшего моего брата — Сергея, в Мариуполе, на глазах у матери, расстреляли немцы в 1943 году. Средний брат —

Борис, умер в исправительно-трудовых лагерях Воркуты, в 1943 году (тиф, дистрофия).

Отец умер в 1940 году, в Ленинграде.

Продлить и поддержать жизнь матери я смогу, только освободившись из ссылки.

Мои родители, бывшие крестьяне бывшей Тверской губернии, еще до революции переехали на жительство в Петроград. Там я и родился в 1915 году.

За пятнадцать с лишним лет из своих тридцати восьми, что я мыкаюсь по тюрьмам, лагерям и ссылкам,— всей своей жизнью и работой,— безуспешно пытаюсь доказать, что я честный человек, гражданин своей страны, ничего общего не имеющий с тем политическим преступником —«шпионом», которым меня сделали в НКВД, в 1938 году.

Шестнадцатый год я бью лбом стены, пытаюсь восстановить справедливость, добиться пересмотра моего «дела».

Мое жизненное несчастье — арест в 1938 году — это акт подлости негодяев и карьеристов, прорвавшихся к власти и в органы НКВД.

Факт, послуживший поводом для обвинения и дальнейших репрессий, ни по каким законам цивилизованного общества не мог являться преступлением.

Сообщаю биографические сведения о себе и о существе дела.

Родился в 1915 году, в Петрограде. Окончил семь классов трудовой школы.

В 1930—1932 гг. учился в Ленинградском эстрадно-цирковом техникуме. Одновременно работал в цирке акробатом.

С 1932 по 1935 год учился в Ленинградском театральном училище, совмещая учебу со съемками на к/студии «Ленфильм». Сыграл ряд ролей в кинокартинах: «Ошибка героя», «Чапай», «Наследный принц республики», «Золотые огни», «Комсомольск». В 1935 году, окончив училище, продолжал сниматься в фильмах.

В декабре 1936 года мой брат Борис Степанович Жженов, студент Ленинградского университета, был арестован органами НКВД ЛО и весной 1937 года был осужден Ленинградским област-

ным судом по статье —58.10, сроком на семь лет, за «антисоветскую деятельность и террористические настроения».

Отца, мать и трех моих сестер, живших в одной квартире с братом, выслали в Казахстан.

Ордер на высылку был предъявлен и мне.

В 15-м Василеостровском районном отделении милиции Ленинграда я заявил, что считаю незаконным решение о моей высылке и что в высылку не поеду. Мне ответили: «Не поедешь — посадим» и взяли подписку о невыезде из Ленинграда. Так как в это время я снимался в фильме «Комсомольск», где играл одну из ролей, и обязан был ехать на съемки в город Комсомольск-на-Амуре, дирекция к/студии «Ленфильм» обратилась в Управление НКВД ЛО с просьбой разрешить мне отъезд на съемки. Разрешение было получено.

16 июля вся наша киногруппа, во главе с режиссером Герасимовым С. А., выехала из Москвы на Восток.

За шесть суток пути скорого поезда «Москва — Владивосток» все пассажиры, естественно, перезнакомились друг с другом.

Артисты — народ веселый, всегда вызывающий к себе повышенный интерес и внимание окружающих. Тем более — среди нас были уже знаменитые, популярные артисты: Николай Крючков, Петр Алейников, Иван Кузнецов и другие... Все мы были молоды, беззаботны,— шутили без конца, смеялись, играли в карты, пели песни, дурачились — одним словом, всю дорогу до Хабаровска веселили не только себя, но и всех, кто охотно посещал нашу компанию.

Среди поездных знакомых, ехавших с нами в одном вагоне, был американец Файмонвилл[1]. Он ехал во Владивосток встречать какую-то делегацию своих соотечественников.

Файмонвилл, как и остальные пассажиры вагона, не только терпел шум, производимый нашей компанией, но и сам охотно принимал участие во всех наших дурачествах и играх. К тому же Файмонвилл прекрасно говорил по-русски.

---

[1] В «деле» Г. С. Жженова американец назван Файвонмилем.

Нам безразлично было — американец он, негр или папуас! Иностранцев мы рассматривали исключительно с точки зрения наличия хороших сигарет.

В Хабаровске мы распрощались с нашими попутчиками, поскольку дальнейший наш путь лежал по Амуру, пароходом.

Вторая «преступная» встреча с Файмонвиллом состоялась через полтора месяца в Москве, на вокзале, в день возвращения нашей киногруппы из экспедиции. Файмонвилл с этим поездом встречал кого-то и, увидев нас, поздоровался, и мы в ответ шумно, со смехом приветствовали его как «старого знакомого».

И последний раз я видел Файмонвилла через несколько дней в Большом театре, на спектакле «Лебединое озеро». Со мной были мои друзья — Вера Климова и ее муж Заур-Дагир, артисты Московского театра оперетты. В антрактах мы разговаривали с ним о балете, об искусстве вообще, курили сигареты (его сигареты).

Прощаясь в этот вечер с Файмонвиллом, я пожелал ему здоровья, поблагодарил за внимание, сказал, что уезжаю домой, в Ленинград, короче говоря, как мог, вежливее дал понять, что эта встреча с ним последняя. На мои дипломатические зигзаги он ответил: «Пожалуйста. Вы не первый русский, который прекращает знакомство без объяснений. Поступайте как вам угодно,— хотя я и не понимаю этого».

Что я ему мог ответить? Что иностранцев мы боимся как черт ладана? Что в стране свирепствует шпиономания? Что люди всячески избегают любых контактов с ними, даже в общественных местах, на людях, в театрах?.. Я предпочел промолчать.

Вот и все мое знакомство с этим человеком. Никогда больше я его не видел и ничего о нем не слышал.

Прекратил знакомство не потому, что убедился в преступных намерениях этого человека,— Файмонвилл не давал ни малейшего повода заподозрить его в злом умысле, он всегда был вежлив, тактичен и никогда не касался в разговоре никаких тем, кроме общих разговоров об искусстве, кино и театре.

Я же не допускал и мысли, что могу в чем-то преступить норму поведения советского артиста и гражданина,— поэтому это случайное, всегда проходившее на людях, краткое знакомство не могло родить во мне ни малейших подозрений и страхов. Я был типичный молодой артист, окрыленный первыми творческими успехами в кино и рвавшийся в дальнейшую работу. Жизнь для меня была самой прекрасной и светлой!

Я был молод, наивен, упоен жизнью и уверен в своей лояльности гражданина СССР.

В октябре 1937-го я вернулся в Ленинград. В особом отделе 15-го отделения милиции мне сообщили о прекращении моего дела, разорвали при мне подписку о невыезде, пожали руку и сказали: «Живи и работай!»

И я жил и работал вплоть до 4 июля 1938 года.

Ночью 5 июля я был арестован. Мне было предъявлено обвинение в преступной, шпионской связи с американцем.

Действительно имевший место факт моего безобидного знакомства с иностранцем следствием был оформлен как преступный акт против Родины.

Бандиты, выродки рода человеческого в офицерских мундирах НКВД всячески принуждали меня подписать сочиненный ими сценарий моей «преступной» деятельности.

Меня вынуждали признаться, что Файмонвилл завербовал меня как человека, мстящего за судьбу брата...

Что я передал ему сведения о морально-политических настроениях работников советской кинематографии... (?!)

Сведения об оборонной промышленности г. Ленинграда и о количестве вырабатываемой ею продукции... (?!)

Сведения о строительстве г. Комсомольска-на-Амуре. (?!)

Даже комментировать эту очевидную чушь не хочется, противно.

Кому и зачем понадобилось из меня — человека, только вступающего в жизнь, полного сил, энергии,

желания работать, приносить обществу пользу,— делать преступника?

Рассказываю вкратце, как проходило следствие.

На одном из первых допросов, когда я несколько суток стоял на «конвейере», начальник Отделения КРО спросил меня, почему я упрямлюсь и не подписываю показаний?

Я ответил: «Написанные мною и подписанные мною показания вас не устраивают,— вы их порвали. Показаний же, сочиненных следствием, я не подпишу. Это ложь! Совесть и достоинство не позволяют подписывать ложь». На это он заявил мне: «Слушай меня внимательно. Это я говорю тебе — старший лейтенант Моргуль!.. Ты подпишешь показания не такие, какие есть у тебя, а такие, какие нам нужно. Запомни это. Ты один — нас много!.. Будешь сопротивляться день, два, неделю, месяц — не поможет! Устанет с тобой один следователь, его сменит другой, третий и т. д. Нас много — ты один! Запомни это... Все равно подпишешь, никуда не денешься... И не таких ломали. Уж как-нибудь ты у меня пять лет на Камчатке отработаешь!»— после чего дал мне пинок под зад и выгнал в камеру.

На следующем допросе я спросил: зачем все это? Следователь П. П. Кириленко ответил: «Так надо». Он, вероятно, был человечнее своего начальника, потому что добавил: «Семье контрреволюционера нет места в городе Ленинграде. Надо было не быть дураком и уезжать вместе с родными в высылку, в Казахстан, а не сопротивляться».

Все дальнейшие допросы не отлнчались оригинальностью. Меня продолжали мучить на длительных допросах без пищи, воды и сна... Я стоял... На мне демонстрировали всякие моральные и физические методы воздействия и запугивания, ничего общего не имеющие с моим юношескнм представлением о ведении следствия в советских тюрьмах.

В конце концов сломили, конечно, мою волю, и, отчаявшись во всем, на одном из тяжелых допросов я подписал ложный, сочиненный следствием сценарий моих «преступлений».

Что это, малодушие с моей стороны? Трусость?.. Нет! Это был момент потрясения, глубочайшего от-

чаяния — мне было все равно, лишь бы оставили в покое.

Очень страшно, когда с понятий Справедливость и Человечность впервые вдруг сорвали все красивые одежды... Мне было только 22 года. Я боялся не физических увечий, нет,— может быть, я и вытерпел бы их — я боялся сумасшествия. Любое сопротивление бессмысленно перед жестокостью! Знать бы, во имя чего ты принимаешь муки — было бы легче!

Нелегко перечислять прелести ежовских допросов, добавлю только, что при следующем вызове к следователю я потребовал зафиксировать мой категорический отказ от подписи под протоколом, полученной насильственными методами принуждения. Мне отказали. В камере я потребовал бумагу для заявления. Мне отказали. Бумагу требовали многие. Мы объявили голодовку — бесполезно. Никто ее даже не зафиксировал. Нам рассмеялись в лицо и пригрозили в случае упорства тюремным карцером.

Лишь в тюрьме «Кресты», куда я был переведен на «консервацию», с трудом удалось получить бумагу для заявлений.

В какие только адреса я не жаловался! Писал на имя начальника тюрьмы, прокурору по надзору, Верховному прокурору, Калинину, Сталину — бесполезно!.. Все мои протесты и жалобы попадали куда угодно, только не в дело. Свидетельством тому следующий случай: осенью тридцать восьмого, когда наконец посадили Ежова, новое руководство НКВД, утверждая себя, сделало попытку или видимость пересмотра некоторых следственных дел.

Меня вызвал новый следователь и... потребовал подтвердить ложный протокол (!!!). Я отказался, в свою очередь потребовав оформить мой отказ протоколом.

В этот момент в кабинет вошли несколько человек комиссии во главе с человеком, к которому остальные относились с особым почтением. Пользуясь случаем, я обратился к этому лицу и повторил свой протест. Я заявил, что неоднократно писал жалобы в разные инстанции.

Этот человек спросил следователя, есть ли в моем деле эти заявления? Явно смутившись, следователь ответил, что вообще они, дескать, есть... но... в деле их... сейчас нет,— они там... в Управлении.

На это человек, возглавлявший комиссию, ответил: «Чтобы заявления подследственного были не там, а здесь!»— и показал пальцем на мое дело.

Когда комиссия ушла, следователь, замахнувшись на меня чернильницей, заорал, что я его компрометирую, что буду еще в этом раскаиваться, когда снова окажусь во внутренней тюрьме НКВД, и прекратил допрос.

В декабре 1938 года меня действительно перевели на Шпалерку и потребовали расписаться в окончании моего дела.

Я заявил, что до тех пор, пока к делу не будут приобщены мои заявления об отказе от подписи под ложными протоколами, добытыми преступными, насильственными методами, я не возьму в руки ручку.

Мне насильно всовывали ручку в руки, я выбрасывал ее... мне всовывали снова, я снова выбрасывал... Под дикий мат и крики полутора десятков человек меня пытались принудить подписать окончание следствия... Я стоял на своем. Наконец, кто-то из них крикнул: «Да черт с ним! Зря время теряем. Дайте ему бумагу — пусть пишет».

Мне кинули лист бумаги, и под хохот и матерщину этих «черных мальчиков», по команде старшего оказывавших на меня психическое воздействие, я кое-как, зажав уши, чтобы сосредоточиться,— написал отказ.

Думаю, что усилия мои были напрасны. Тогда следствие произвольно перенумеровывало страницы дела, выдирая из него любое, что было неугодно, и внося то, с чем не хотели знакомить подследственного. Я был неопытен, подавлен морально — обмануть меня было не трудно.

И все же у моих мучителей что-то не получалось. Прокуратура дважды возвращала мое дело на доследствие и переследствие, вместо которого меня принуждали подтвердить ложные протоколы и подписать окончание дела.

Весной тридцать девятого начальник тюрьмы «Кресты» и тюремный врач, искавший на моем теле

следы побоев, хором пророчили мне свободу. Тот факт, что я долго мотаюсь между двумя тюрьмами, говорили они,— хороший признак! Значит, трибунал мое дело бракует, не принимает к слушанию.

«Хороший признак» завершился постановлением внеконституционного судилища, именуемого Особым совещанием НКВД СССР, заочно отправившего меня на пять лет в исправительно-трудовые лагеря.

Старший лейтенант Моргуль, предсказавший мне пять лет Камчатки, ошибся только в географических подробностях,— меня этапировали на Колыму.

Ирония судьбы! В это же время мои родители и родные были возвращены из высылки. Ее признали незаконной.

Дальше следует:

Колыма... Золотые прииски... Война. Конец заключения в 1943 году. И новая официальная бумага с гербами,— и еще двадцать один месяц лагеря...

26 марта 1945 года, решением начальника УСВИТЛа Драбкина и прокурора войск МВД, за хорошую, добросовестную работу, я был условно-досрочно освобожден из лагеря.

До декабря 1946 года работал в Магаданском заполярном драматическом театре.

Весной 1947-го вернулся на «материк». Приехал в Москву за назначением на работу.

Статья 39 положения о паспортах, стоявшая в моем паспорте, запрещала право жительства в сколько-нибудь крупных промышленных городах, где есть киностудии.

По ходатайству моего учителя Герасимова Сергея Аполлинариевича меня направили работать в Свердловск, на к/студию художественных фильмов.

По личному разрешению секретаря Свердловского обкома партии я получил временную прописку в г. Свердловске. На киностудии начал сниматься в фильме «Алитет уходит в горы».

В 1948 году к/студию художественных фильмов в г. Свердловске ликвидировали, производство фильма передали в Москву, где мне запрещалось жить с 39-й ст. в паспорте.

На актерской бирже в Москве я нанялся работать в г. Павлов-на-Оке в местный драмтеатр.

2 июня 1949 года, в Павлове-на-Оке, я был снова арестован. Шесть месяцев ел тюремную кашу в г. Горьком, надоевшую мне и раньше на всю жизнь, и снова, волею бессмертного Особого совещания, отправился через всю Россию в ссылку — медленно и за счет государства.

Сейчас работаю в Норильском драматическом театре. Опять, как и в Магадане, играю роли советских героев — людей честных, принципиальных, смелых!

Мой суд — зритель! Его одобрение и аплодисменты — плата за труд, за те положительные идеи, которые я, человек и артист, стараюсь донести до зрителя.

Советский театр — просветительное, культурное учреждение, призванное нести идеи государства, идеи гуманности, идеи коммунизма. Я один из творческих работников этого учреждения в Норильске.

«Человек познается в труде!»— сказал Горький. Так почему же в самом главном — творческом труде мне — ссыльному — верят, а в гражданских вопросах нет?

При любом самом малом конфликте, разности точек зрения, споре — сразу ставится под сомнение моя политическая благонадежность. Все время я ощущаю в некоторых людях желание дискредитировать меня морально и профессионально. Сыграть на положении ссыльного легко. Недоверие — обидное и незаслуженное — сквозит во всем: в отношении руководства, в отношении части товарищей по работе, в обидном замалчивании результатов моего труда и т. д. Включая существующий факт гласного надзора МВД.

Шестнадцатый год я заявляю, что я не преступник! Не бывший преступник, а был, есть и останусь честным человеком, гражданином своей страны.

Поймите, что нет ни моральных, ни физических сил терпеть дальше эту бессмысленную ссылку.

Прошу понять меня и помочь в моей просьбе. Снимите с меня ссылку.

15 декабря 1953 года
Норильск

Жженов Г. С.

Детство

Родился я в Петрограде на Большом проспекте Васильевского острова в красном каменном здании родильного дома между 15-й и 16-й линиями, 22 марта 1915 года.

Себя в этом «прекрасном и яростном мире» начал помнить лет с четырех, по возвращении из деревни, куда, по рассказам матери, нас с братом Борисом увезли из холодного и голодного Петербурга в связи с революцией.

Мои родители — Мария Федоровна Щелкина и Жженов Степан Филиппович были родом из села Кесова Гора и деревни Демидово бывшей Тверской губернии. Кто из села, кто из деревни — не помню... Там крестьянствовали наши деды, бабки и прочие «сродственники». Вот туда-то, на картошку, которой было еще достаточно в деревне, и отправляли нас — молодь — по мере того как мы, появившись на свет божий, взрослели и уступали место у материнской груди следующему младенцу. А появлялись мы на свет с поразительной регулярностью, один за другим ровно через два года. Сергей — 1911 год, Борис — 1913 год, Егор (это я) — 1915 год, Надежда — 1917 год, Вера — 1919 год... Дальше производство Жженовых прекратилось то ли в связи с трудностями, рожденными двумя революциями, то лн в силу неведомых мне тогда биологических закономерностей. Да и сколько можно?! Кроме родных сестер и братьев у меня уже имелись и сводные по отцу сестричкн: Анастасия, Прасковья, Мария, Клавдия и Софья... Софья ушла из жизни рано. Ее место в этом мире занял я, и надолго.

Первые самостоятельные впечатления, сохранившнеся в моей памяти, относятся ко времени возвращения из деревни в Петроград. Деревню не помню совершенно. Бабушка рассказывала, что часто «пек колобки»,

то есть часто забирался на теплую печку и подсушивал там штанишки, поскольку основной нашей пищей была картошка и бегали мы всегда со вздутыми, ослабевшими животами. В памяти, как в копилке, сохранились обрывки разных эпизодов того времени, часто не связанные между собой ни по времени, ни по смыслу.

...Серые булыжные мостовые улиц милого моему сердцу Васильевского острова... Арочные подворотни домов с огромными камеиными тумбами по бокам — место ежевечерних сборнщ молодежи. В нэповские годы здесь пели под гитару хулиганские есенинские песни, задирали прохожнх, пили для куражу, дрались, лущили семечки, соревновались в ухарстве и доблести и мечтали о романтике моряцкой совторгфлотской жизни...

Здесь, на Васильевском, прошли мое детство, моя юность! Здесь пролетели первые двадцать два года моей жизни...

В памяти остались даже запахи... Запахи огромного прнморского города!.. Запахи набережных, кораблей, бульваров, осенних парков, рынков и весеннего талого снега... И совсем новый для меня, мальчишки, запах таинственного города... Скученного человеческого жилья. Запах сырых петроградских домов, запах кошек на затхлых черных лестницах... Парадные двери в квартиры после революции, как правило, были еще заколочены... Запах подвальной плесени и сырых дров... ну и, конечно же, сказочный запах чердаков, куда осторожные люди на случай внезапного обыска сносили после революции все, что могло как-то компрометировать их перед новой властью.

Чего только мы не обнаруживали там!.. Винтовки, шашки, гранаты, револьверы, ящики с патронами, пулеметные ленты, разрывные пули, штыкн, гильзы... Подобно археологам, мы откапывали из-под балок чердачных перекрытий всевозможные царские ордена, медали, жетоны, связкн фотографий и документов, орденские ленты, «керенки», цилиндры, корсеты, канотье и кивера, генеральские и офицерские мундиры, эполеты, погоны, аксельбанты и прочее, и прочее.

Весь этот «реквизит» старого мира появлялся потом в наших квартирах, наводя ужас на наших родителей, стреляя, «пшнкая» и взрываясь в кухонных плитах, а частенько и вовсе разнося их вдребезги. Вслед за пальбой в квартире возникали, как в сказке, милиционеры и суро-

вые дяди в кожанках. Нас, пацанов, сгоняли в одну комнату и поодиночке выдергивали на допрос с пристрастием... После капитуляции: «дяденька, прости, я больше никогда не буду»,— конвоируемые милицией, мы вели суровых дядей на чердаки в наши боевые арсеналы и разоружались, выкладывая противнику все до последнего патрона... Но огорчались мы ненадолго — находили другие клады, и начиналось все сначала... Опасные игры закончились лишь тогда, когда петроградские чердаки и подвалы были очищены от «наследия прошлого» окончательно.

Моя сестра Ната, которой в ту пору было уже лет двадцать, только что стала учительницей. Ее характер, по-моему, вполне соответствовал этому призванию. Она была строга, энергична, требовательна... Любила порядок и ясность. Обожала подчинять и воспитывать. Поэтому на правах старшей из сестер и взялась за нас, мальчишек. С первых же дней по возвращении из деревни нам, Сергею, Борису и мне, предлагалось жить по ее сценарию.

Уходить из дома без разрешения — нельзя! Опаздывать к обеду — нельзя! Заводить случайные уличные знакомства, а также кататься на трамвайной «колбасе»— строго запрещено. Лазать через заборы — тем более!.. Словом, предлагалось вести себя прилично, как подобает воспнтанным петроградским мальчикам. С этой целью моя благонамеренная сестра вывела меня однажды во двор нашего дома и представила двум соседским детям — Русику и Ириночке — чистеньким, ухоженным, воспитанным пай-детям — сыну и дочери жившего в доме музыканта — скрипача Грибена.

Меня заставили взять моих новых знакомых за рукн, и таким образом наша дружба была скреплена навеки. Так, по крайней мере, думала моя умная, но наивная сестра. Откуда ей было знать, что этим церемонналом знакомства и закончилась навсегда дружба с Русиком и Ириночкой. Как говорится, сердцу не прикажешь! Через пять минут после ухода сестры я уже бегал по улице с сыном нашего дворника Хайруллой, с которым мы и не расставались все двадцать два года моей жизни в этом доме...

Васильевский остров был изрядно заселен немцами еще с петровских времен.

Жили мы на углу Первой линии и Большого проспек-

та в доме, где помещалась немецкая кирха. В нишах на фасадной стене кирхи стояли во весь рост две гипсовые фигуры святых: святой Петр и святой Павел. В руках одного была книга, в руках другого — ключ.

Святому Петру не везло: мы без конца висли на нем и обламывали ключ. С немецкой пунктуальностью ключ восстанавливался, но мы снова его обламывали с не меньшей пунктуальностью... В конце концов в этом соревновании религии с молодостью победили мы.

Будучи недавно в Ленинграде на улице моего детства, я был приятно удивлен, увидев в руке у апостола вместо ключа все тот же жалкий конец железной арматуры.

Мои родители никогда не жили в согласии, по крайней мере на моей памяти. Причин этому было достаточно. К моменту женитьбы на моей матери отец был уже вдовцом. От первого брака у него осталось пять ребятишек —«мал мала меньше», как говорила моя мать.

Мальчишкой приехав в Петербург, отец поступил в услужение к своему земляку — булочнику, владельцу пекарни. Он бегал с утра до вечера по Васильевскому острову с огромной корзиной, разнося булки по адресам постоянных клиентов, и успевал вечером помогать хозяину в пекарне, мечтая когда-нибудь открыть собственное дело и стать хозяином, выбиться в люди. В «люди» он в конце концов выбился. Залез в неоплатные долги, но выбился — стал хозяином. Вскоре женился, жену взял из деревни. Пошли дети. Регулярно через год и все девочки. Жизнь осложнялась. Заботы прибавлялись с каждым днем, с каждым следующим ребенком... Стал попивать. Сначала изредка — счет деньгам знал, особенно когда был трезв — помнил, что в долгах; после смерти жены стал пить регулярно, запоем — правда, запои были еще редки — держался, старался держаться.

Таким его впервые и увидела моя мать, когда отец привез в деревню, после похорон жены, весь свой выводок неухоженных, золотушных сирот, за которыми в городе теперь уже некому было ухаживать, некому приглядеть. Конечно, только щемящее чувство сострадания и жалости могло толкнуть крестьянскую девчонку на брак с вдовцом, да еще с «приплодом» пятерых сопливых ребятишек. Легко ли решиться на такое в семнадцать лет! В семнадцать лет, когда человек сам еще, по существу, ребенок и жизнь ему представляется не иначе как в розовом свете.

Говорят: добрые люди мягкосердечны, слабохарактерны... Моя мать не была такой. Наоборот, она скорее производила впечатление строгой, властной. Сентиментальность была ей несвойственна от природы...

Родившись в деревне, мать с малолетства узнала и полюбила труд. У нее были хорошая голова, трезвый, крестьянский ум. Недостаток образования (два класса сельской школы) с лихвой восполнялся природной одаренностью,— мать была талантливым человеком!.. Умела разбираться в людях. Редко в них ошибалась. Трудолюбие в человеке уважала, ценила превыше всего остального... Весь мир делила на «путевых» и «непутевых». Непутевыми называла бездельников и пьяниц. К ним была подчас даже жестока.

Путевые люди — это прежде всего работящие люди, труженики! Мать любила это слово и часто повторяла его. Для них не скупилась ничем — отдавала, как говорится, последнее... Не ждала, когда к ней обратятся за помощью,— всегда первой предлагала себя, все свои возможности и силы. Все семьдесят восемь лет своей жизни мать не жила для себя, а всегда жила для людей, считая это чуть ли ие единственным смыслом своей жизни.

«Все, кто зиал тебя или слышал о тебе, вечно помият и благословляют твое мудрое, доброе сердце — не добренькое, а именно доброе сердце, всегда отзывчиво распахнутое навстречу каждому «путевому»... Твое щедрое сердце, в конце концов растерзанное людской глупостью и жестокостью.

Вечная тебе память, моя прекрасная Мама!»

Нелады между моими будущимн родителями начались вскоре после свадьбы, когда отец со своим выводком и новой молодой женой возвратился из деревни в город. Он решил, что свою семейиую проблему он разрешил полностью, приобретя в лице молодой одновременно и жену, и мать, а вернее, мачеху для своих пятерых сирот. Все это жнвое, голенастое «хозяйство» отец с облегчением и удовольствием взвалил на плечи суженой и умыл руки — занялся своими пекарскими делами.

Жил он тогда на Васильевском острове, в гавани, в доме, где помещалась и его пекарня, то ли над ией, то ли под ней... Жили без столичных излишеств, по-деревенски: стол, лавки, несколько табуреток, иехитрый посудный ларь с глиняным и стеклянным скарбом да образа

в переднем углу — вот и вся мебель!.. И, как водится, полати от стены до стены, вместо кроватей. На них, как на деревенской печи, как в норе или в гнезде — спали, ели, играли, ссорились и мирились, подрастали помаленьку все мы — многочисленное семейство Жженовых.

Отец был прижимист, берег каждую копейку — копил. На нужды семьи не обращал никакого внимания — живы, н ладно!

Обедали по старинке: ели из одной общей чашки деревянными ложками, по кругу, начиная с отца и дальше, по часовой стрелке. Надо сказать, что такой порядок в нашей семье просуществовал довольно долго,— уже на моем веку традиция эта еще сохранялась. Хорошо помню, как во время одной такой семейной трапезы я сунулся в общую чашку вне очереди. Отец замахнулся на меня, я увернулся от удара, а мой брат Борис, сидевший рядом, получнл вместо меня ложкой в лоб и оказался на полу под образами. Отец держал всех в черном теле. Над первой своей женой имел власть неограниченную. Ни перед кем в своих действиях не отчитывался. Был беспрекословен. Между запоями бывал хмур и молчалив. И, наоборот, в запое громок, болтлив, буен и заднрист — его боялись. Боялись все, кроме моей матери. Поначалу мать молча присматривалась к своей новой жизни. Терпеливо наблюдала, соображала, с чего ей лучше начать, как поумнее разобраться в этом дремучем житье-бытье... Постепенно в доме стали чувствоваться ее характер, ее воля. Начались преобразования. Вместо нар появились кровати. Правда, еще не по числу душ, но все же... Старшие наконец-то обзавелись «плацкартой». Малышня умещалась по двое, по трое на кровати. Пришлось отцу раскошелиться и на одежду — никуда не денешься — у старших девочек подошел школьный возраст. Им покупали новое — младшие донашивали со старших — так и жили...

Отец все еще мечтал разбогатеть. Мечтал стать купцом, хоть какой-нибудь гильдии!

Мать растила отцовских девочек и рожала собственных мальчиков. Семейство увеличивалось и увеличивалось... Первые годы, пока доходы еще балансировались с расходами, отец мирился с этим, тянул лямку, терпел... Но вот в доме появилась нужда. А нужда для русского человека первая причина для запоя.

Отец пил лихо, без удержу. Пил месяца по три — гулял во всю силу своего здоровья! Никаких друзей, никаких собутыльников — пил один... под огурец. На конторке, рядом с его кроватью, стояла тарелка с соленым огурцом — единственная закуска на все три месяца запоя. Отец не закусывал, а «засасывал» — огурец, как неразменный рубль, месяцами оставался целехонек.

Все благоприобретенное и накопленное между запоями спускалось. Пропивал и движимое, и недвижимое... В доме появлялись экзотические типы с мешками, из тех, что ходили по дворам и кричали: «Ха-ла-ат... хала-ат!», «Ко-остей — тря-а-пок, буты-лок — ба-а-нок!» В мешках предприимчивых потомков Мамая исчезали со стен нашей квартиры всякие «излишества», все, что могло быть унесено и продано.

Кульминация этого житейского спектакля наступала, когда со стены снимали часы — из дома уносили время!..

Если эта акция проходила в отсутствие матери, то на этом спектакль и заканчивался. После короткого торга и расчета сторон «янычары» удалялись вместе с добычей восвояси, удовлетворенно бормоча восточными голосами какие-то нерусские слова... Но бывало и так, что в самый критический момент в доме вдруг появлялась рассерженная мать. Обстановка менялась мгновенно. Мать хватала первое, что попадало под руку — швабру, метлу или просто обыкновенную палку, и гнала взашей все это басурманское воинство. Больше всех попадало отцу, хотя он в пьяной ярости и кидался на мать с кулаками, защищая свое мужское право распоряжаться имуществом как ему вздумается.

Мы, мальчишки, конечно, держали сторону матери. Но оказать отцу сколько-нибудь серьезное сопротивление мы не могли по возрасту.

В конце концов пришло время, когда и отец понял, что мать уже не одна, что мы подросли и встали на ее защиту решительно. Связываться и с нами стало опасно и чревато неприятностями для него самого.

Однажды, предупреждая очередной скандал, я сказал ему: «Не лезь к матери — худо будет». Обозлившись на меня, отец замахнулся, но я успел присесть, и рука его, разбив стекло двери, у которой мы находились, по самое плечо оказалась в другой комнате, изрядно кровоточащая. «Я предупредил тебя»,— сказал я удовлетворенно.

Другой случай, после которого отец навсегда прекра-

тил драки с матерью. Во время очередного запоя, когда он буйствовал и кидался на всех, мать, защищаясь, швырнула в него фаянсовым заварным чайником и рассекла вену на виске. Отец в ярости кинулся на мать и, наверное, убил бы ее, не окажись мы рядом. Оттащив от матери, мы уложили его на кровать и, так как он продолжал буйствовать, привязали к кровати за руки и за ноги, дав возможность матери безбоязненно промыть рану и остановить кровь. «Выросли, змееныши, матку защищаете...»— говорил его взгляд, когда, затихнув, он ошалело глядел на нас с кровати.

Конец запоя всегда был одинаков. Весь день отец не появлялся из своей комнаты,— его бил озноб, лихорадка, его тряс «колотун». Ни есть, ни пить он не мог, так организм его был отравлен. Жутко и жалко было смотреть на отца в этот момент.

Несколько дней продолжались мучения, пока, наконец, в одно прекрасное утро он не появлялся на пороге комнаты преображенный, как раскаявшийся грешник, с узелком чистого белья под мышкой — он шел в баню. А вечером — чистый, умиротворенный, тощий до прозрачности, сидел под лампочкой за своей конторкой в комнате перед раскрытой на первой странице, огромной толстой книгой. Книга называлась: «Трезвая Жизнь». Дореволюцнонное, общедоступное, выпускаемое для простого люда издание, распространяемое обществом трезвенников среди низших слоев общества с воспитательной, благотворительной целью.

Весь промежуток времени между запоями отец чнтал эту толстую книгу. По количеству непрочитанных страниц мы, как по календарю, всегда знали, далеко ли до следующего запоя. Как только дочитывалась последняя страница, книга захлопывалась, и все начиналось сначала... И так всю жизнь! До самого моего ареста в 1938 году я помню эту книгу в нашем доме.

Что делать?

Мне пятнадцать лет. Уже пятнадцать. Оканчиваю седьмой класс 204-й ленинградской средней школы. Школа наша находнлась на Университетской набережной Васильевского острова, в одном из флигелей университета,

между основным его зданием и зданием филологического факультета. Чтобы перейти в следующий класс (восьмой), мне необходимо было ликвидировать хвосты по физике и математике. А это непросто, если учесть, что школа наша была с физико-математическим уклоном и уровень требовательности к ученикам соответствовал ее местонахождению. В довершение всего физика и математика являлись теми предметами, которые давно и безнадежно мною были запущены. За прошедший учебный год я не часто одаривал своим посещением эти уроки и, естественно, отстал. Появилась задолженность, родился хвост. Хвосты имеют тенденцию расти, увеличиваться... Ведь как это обычно происходит: сначала не готовился и пропускал уроки бездумно,— ладно, мол, ничего страшного, в следующий раз догоню, выучу. Не догнал, не выучил... Не выучил раз, не выучил два. А дальше стал избегать уроки уже сознательно — стыдно было обнаруживать свою несостоятельность перед товарищами.

К тому же уже тогда я был влюблен в одноклассницу Люсю Лычеву, большеглазую девочку, ради внимания которой совершал массу геройских поступков чуть ли не с первых классов школы, а именно: ...прыгал с парапета Невской набережной в ледяную воду в начале мая, открывая сезон купания в Ленинграде... дрался с «друзьями-соперниками», отстаивая единоличное право сопровождать на каток и с катка голубоглазую ингерманландку... выделывал рискованные фортели на уроках физкультуры и на переменах в школьном дворе, стараясь показаться своей королеве эдаким рыцарем — сильным, смелым, ловким, благородным, умным...

Я, скорее, готов был поставить точку на своем общем образовании и уйти из школы, нежели дать своей любимой повод разочароваться во мне.

Словом, весной 1930 года настроение мое было унылым и подавленным. И даже буйная радость, всегда возникавшая во мне с приходом очередной весны, наполняя всего меня телячьим восторгом, не могла отвлечь от впервые заданного самому себе вопроса: как быть дальше?

Раньше подобные моменты растерянности легко разрешали взрослые. Мать в таких случаях говорила: «Успокойся, сынок, все пройдет, все рассосется!»

И вот наступил день, когда ты впервые понял, что ничего не рассасывается, ничего не проходит само по себе; как утихшая зубная боль не освобождает от неизбежно-

го визита к врачу, так и вставший перед тобой однажды вопрос, что делать, рано или поздно потребует обязательного ответа. И никуда от этого не денешься! Вопрос не рассосется, не исчезнет... Скорее наоборот — будет зреть, множиться и в конце концов превратится в проблему, потребующую немедленного вмешательства. И когда этот момент наступит, тебе станет ясно, что детство кончилось, улетело безвозвратно...

...Игрушкой с перекрученным заводом
Спит наше детство где-то на полу!..

И как всякий конец есть начало чего-то нового, так и в моей жизни весна 1930 года знаменовала для меня приход следующей поры жизни, отрочества.

Бездумный, веселый, беззаботный этап моего жизненного марафона позади!.. Из школы я ушел, а что дальше?..

Впереди маячили горы.

А ведь совсем еще недавно в голубых небесах моего детства не было ни облачка. Учился помаленьку. Школьными науками себя не утруждал особенно. Для ума и сердца существовали куда более интересные занятия — улица!.. Олимпийский стадион моего детства!

Неизведанный, фантастический, влекущий мир! Звонкоголосое царство босоногой ребятни!

...«Казаки-разбойники», «лапта», «чижик», «фантики», «вышибаловка» и многие, многие другие упоительные игры раннего школьного детства...

Улица — особый мир, начинавшийся сразу же за стенами родительского дома. Это набережные Невы, сады, переулки, рынки, вокзалы, пригороды, взморье и прочие места, где мы носились с утра до вечера, появляясь дома с одной-единственной целью — поесть, да и то на минутку.

Двери в квартиру до самой ночи не запирались. Режима никакого.

Каждый мог есть, что хотел, как хотел и когда хотел. Для этой цели между наружными дверьми в квартиру всегда ставилась огромная кастрюля щей, свежих или кислых. Чаще кислых (от времени они только хорошели). Щи варились сразу на неделю.

На уровне пола между дверьми стояла плетеная корзинища с сырыми яйцами, щедро пересыпанными конопляной шелухой для сохранности. Чем меньше в корзине

оставалось яиц, тем дольше приходилось искать их и вылавливать, пропуская шелуху сквозь пальцы, как воду.

Матери было недосуг заниматься обедами. Она была добытчицей. Домашними делами занималась разве что в единственный свободный свой день — воскресенье. Все остальные дни недели мать вынуждена была сидеть на Андреевском рынке, у своих горшков и посуды, дожидаясь покупателей. Поражаюсь, как ее хватало на всех нас!!

Одних малолетних иждивенцев набиралось за обеденным столом в воскресенье не меньше дюжины, не считая самих родителей и прочей родни, двоюродной и троюродной...

У матери была врожденная слабость опекать своих земляков. Она половину деревни, наверное, перетащила за свою жизнь в Ленинград. И всех их надо было устроить, приголубить, накормить...

Заботы ее не кончались одним нашим пропитанием... Одежда буквально горела на нас. Особенно не напастись было штанов и обуви.

Любимая игра моей жизни — футбол — чего ей стоила! За месяц-полтора самые прочные башмаки превращались в «воспоминание»... Где только мы не гоняли мячи! На булыжных мостовых улиц (автомобили тогда были редки), в каменных колодцах ленинградских дворов, на бульварах и скверах, в садах, везде... где только можно и нельзя. В те далекие годы везде еще было можно!..

Мячи были разные: дорогие сине-красные, с полоской и детские резиновые. Иногда найденные в крапиве за забором футбольного поля настоящие мячи, потерянные взрослыми или «заначенные» у них... Но, как правило, творили мячи сами, из конского волоса н тряпок, завернутых в старые дамские чулки... «Кикали» и просто консервной банкой или деревяшкой, попавшейся под ногу... Такие испытания на прочность под силу разве что водолазным башмакам.

Обычный маршрут от дома до школы чего только стоил матери! Кратчайший путь через заборы и ограды Менделеевского ботанического сада таил в себе не только выгоды, но и опасности: часто кончался «ранениями» в заднцу солеными зарядами из берданок университетскнх сторожей, бдительно охранявших яблони для науки. По клочкам наших штанов на пиках чугунных оград и проволочных загражденнях заборов можно было

судить не только о поспешности, но и маршруте нашего бегства.

Осенью 1923-го мы, родившиеся в первую мировую войну, брали на «абордаж» начальные классы петроградских школ, насмерть перепугав добропорядочных и чинных учителей, доставшихся нам в наследство от царских времен. Хотя «доброе царское время» и ушло в небытие, рухнуло, но школы по инерции еще продолжали жить самым академическим укладом... по старым школьным программам. Новое только-только рождалось... Страна жила на перепутье времени!

Кончились гражданская война, военный коммунизм — начался нэп! Полуголодные, полураздетые, мы — надежда и опора молодой Советской власти — сели за школьные парты. На нас рассчитывали в будущем как на первое поколение советской интеллигенции. Через 15—20 лет мы должны будем встать у руля жизни!

Честно говоря, тогда мы не сознавали важности своей грядущей исторической миссии и не шибко чтили своих старорежимных учителей, смотревших на нас, детей улиц, с недоумением и растерянностью (вечная и добрая им память). Я не баловал усердием добронравных учителей. В прилежных учениках себя не помню. Усидчивостью и рвением не отличался. Выше «удовлетворительно» по поведению не заслуживал никогда, но из класса в класс переходил легко, в числе первых. Правда, самым первым так никогда и не стал, всегда хотел, но... Скорее всего, не хватало сосредоточенности на чем-то одном, главном — жаден был до всего сразу!

Не хватало честолюбия! А оно, видно, необходимо человеку, поскольку делает его более энергичным в достижении цели, поставленной перед собой.

Разумеется, я не имею в виду гипертрофированное честолюбие, из которого вырастают страшные люди — карьеристы и демагоги! Люди-уроды, выродки, для которых все средства хороши, лишь бы они вели к удовлетворению собственных амбиций и притязаний.

Монстры, без малейших нравственных тормозов и оглядок, готовые играть судьбами и жизнями честных людей, в усладу собственного тщеславия сметающие всех, кто оказался на их пути к власти! Подонки.

На рубеже своих семидесяти, прокручивая в памяти прожитое, прихожу к грустной мысли, что любителей пожить «сладко», за счет ближнего, к сожалению, не

убавилось и сейчас. Скорее, наоборот: потребителей в нашей жизни развелось, как поганок в лесу!

История последних десятилетий не очень-то мягко обошлась с русским человеком (впрочем, не только с русским). Социальные проблемы посленэповского периода, коллективизация, первые годы пятилеток — это время не назовешь легким! Тридцатые годы... В результате пресловутого «культа» и прочих экспериментов не худшая часть русских советских граждан исчезла безвозвратно в таежных топях Сибири и Дальнего Востока, «осваивая окраинные рубежи Родины»...

Отечественная война унесла молодых, лучших... На войне всегда погибают лучшие — цвет нации! Все это так, но... Вроде и война уже далеко позади, и жить стало полегче, а ведь на, поди ж ты?!

Сложное существо человек! Всего в нем понамешано вдоволь — и безобразного, и прекрасного! Наверно, все дело в «почве», в которой находится «homo». Она способна вырастить и ангела, и черта! За ней внимательно наблюдать надо, полоть сорняки, удобрять вовремя, подкармливать, избавляться от вредителей,— глядишь, «урожай» и отблагодарить не замедлит — вырастет ЧЕЛОВЕК!

«Бытие определяет сознание»— никуда от этой истины не денешься! Что посеешь, то и пожнешь!

Один умный человек правильно сказал: если человека поставить на четвереньки и долго держать, он в конце концов захрюкает.

Школьные уроки хорошо делаются в ненастье. Кто же усидит за столом с книгой, когда на небе светит солнышко?!

Моя дочь Юля по этому поводу высказалась так:

Голова уж вконец захламлена
Смесью формул, циклов, цитат.
Ох уж эти весной мне экзамены!
Хоть бы кто-нибудь был им рад!

Я сижу и мечтаю: вот если бы...
От дождя посерели стены...
Тут бы кстати пришлась и сессия,
Я открыла б учебник толстенный,
Иззубрила бы все до донышка,
Но ведь солнышко...

Так что и мое интеллектуальное и духовное развитие находилось в прямой зависимости от погоды.

Неустойчивый ленинградский климат лишь благоприятствовал постижению наук. Наверное, поэтому коренных ленинградцев и отличали от всех прочих прежде всего высокая культура и образованность. Настоящего ленинградца всегда и всюду узнавали с первого взгляда.

В послевоенное время, к сожалению, климат во всем мире сделался неустойчивым, и свое преимущество ленинградцы (увы!) постепенно утратили. Теперь их уже не отличишь от всех прочих горожан России.

Ненастье способствовало также и привычке к чтению. А первое приобщение к искусству, к зрелищам: цирк, театр, кино — конечно же произошло если и не в плохую погоду, то уж, во всяком случае, не днем, а вечером...

Недаром говорят: кино дело темное!

Не только темное, но и тихое — «Великий Немой» еще не заговорил. Это чудо произойдет чуть позже, через несколько лет.

Пока еще Мустафа не получил свою «путевку в жизнь»!..

Я не помию первых своих впечатлений от кинематографа, но что это произошло в кинотеатре «Яр», убеждеи абсолютно.

«Яр» — Мекка наших кинематографических странствий!

Зажатый между двумя жилыми домами на 7-й линии Васильевского острова, между Большим и Средним проспектами, он находился рядом с кинотеатром «Форум», через бульвар от Андреевской церкви, куда водили нас по престольным праздникам наши родители, скорее в силу традиции, нежели по убеждению.

«Форум» был нам не по карману, и мы его презирали. Тем более что детей не всегда пускали в него даже с билетами.

Мы, василеостровские пацаны, любили «Яр»! С курчавым тапером за плохоньким пианино, с длинным, как кишка, залом человек иа двести, без всякого фойе, с кассой, выпирающей на тротуар улицы. В ней восседала громадная, как комод, раскрашенная нэпманша Рая, жена хозяина. Звали хозяина Исай Матвеевич, по прозвищу Мотя.

Мотя не пекся о нашей целомудренности, как в «Форуме», и пускал к себе в «Яр» в любое время и на любую картину почти бесплатно. Делал он это виртуозно!.. Разжимал наши потные кулаки с зажатой в них мелочью

и вытряхивал все в кассу, не интересуясь количеством. Накопив жаждущих достаточно, он открывал дверь в зрительный зал и быстро загонял всех в темноту, предоставляя право самим искать себе место.

Обычно сеанс начинался с видовой картины, по-теперешнему с научно-популярной или хроникальной. Затем шла короткометражка,— чаще всего это была веселая и комическая лента.

В этот момент Мотя н ухитрялся запускать в зал следующую порцию. Он был хороший психолог: когда зрители смеются, их меньше раздражают опоздавшие...

Кончалась короткометражка, на время зажигался тусклый свет, в зал вваливалась последняя порция опоздавших — и пацанов, и взрослых, свет медленно угасал, н начиналось, наконец, самое главное...

Зрелище, ради которого мы готовы были забыть все на свете, даже футбол!..

Готовы были бесконечно сидеть на грязном полу в проходе набитого до отказа тесного зала частной «киношки», заплеванные семечками, потные, с судорожным от спертого воздуха дыхаиием, как у выброшенной на берег рыбы, завороженно, с открытыми ртами глядя на четырехугольник белой простыни на стене, волшебным образом уносившей нас в экзотическне страны...

В пульсирующем луче «Великого Немого» на экране возникали картины манящих к себе таинственных миров, населенных красивымн женщинами, мужественными, сильными и велнкодушными мужчинами, не щадившими своих жизней во имя справедливости, добра и любви...

В те благословенные времена зло еще всегда наказывалось, даже в заграничных фильмах. Тогда это еще было законом искусства!

Это уже далеко потом, в послевоенные десятилетия, мировой кинематограф сделается чем-то вроде справочника-путеводителя «сладкой» жизни — учебного пособня по ограблениям и убийствам.

Сколько юнцов, соблазненных изощренной пропагандой человеконенавистничества, закамуфлированного под добродетель, сыплющегося, как из рога изобилия, с экранов мира на головы и души обывателей, прнмут «философию» летящего в пропасть безумного мира!..

Все эти соблазнительные киноужасы не пройдут человечеству даром — аукнутся по всему миру!.. Да еще как!..

Послевоенный мир, как проказой, оказался пораженным насилием и жестокостью! Порнографией, сексом, наркоманией!..

И надо честно признаться, что наряду с социальными причинами несправедливой устроенности мира не последнюю роль в этом, к сожалению, сыграл и кинематограф, со своей грандиозной силой воздействия на человека, и на молодежь особенно.

Ведь далеко не случайно многие преступники, бравируя перед следователями своими «художествами», ссылаются на кинематограф, как на пример, как на первого учителя по технике совершения преступления!

Не следует забывать, что часто подобная кинопродукция создается действительно талантливыми, одаренными в искусстве кинохудожниками. Отсюда степень пагубного влияния на умы и души удесятеряется!

И по меньшей мере «страусовой» позицией являлось утверждение некоторых наших маститых социологов, что нас, Советский Союз, это не касается!.. Дескать, это проблема «гнилого Запада», Америки!.. Такая точка зрения является чистейшей демагогией, если не преступлением перед страной!.. Касается, да еще как! Так же, как малейшее колебание курса валюты на мировой бирже немедленно вызывает изменение финансовой «погоды» во всем мире (и социалистическом в том числе), так и власть мирового кинематографа безгранична!

Всякие разговоры относительно обособленности социалистического киноискусства — демагогия! Никакие расстояния в наш космический век, никакой «железный занавес» не спасут! Все в мире взаимосвязано.

...Кончается очередной сеанс.

Зрители умиротворенно покидают «киношку», оставляя возле своих мест на полу память о себе — кучи подсолнечной шелухи...

Все двадцатые годы процветала мода на семечки. Их щелкали все, и стар и млад! С восхода солнца и до захода!.. Везде: дома, на работе, на бульварах и в трамваях... Обязательно — в местах массовых гуляиий, на площадях и, конечно, в театрах и кинематографах...

Шелестящий шум подсолнечного прибоя, подобно «Девятому валу» Айвазовского, носился по василеостровским проспектам, оседая в порывах холодного балтийского ветра серым хрустящим ковром под ногами на истоптанной зелени бульваров и под стенами домов...

На каждом углу улицы, особенно у входа в кинематограф (тогда не говорили «кинотеатр»), стаи торговок семечками бойко ссыпали в подставленные, оттопыренные карманы идущих в кино и из кино покупателей стаканы жареного зелья.

Васильевский остров — далекий мир детства!.. Малая родина моя!

* * *

Окончив семь классов средней школы, я решил, что хватит в моей жизни наук, пора заниматься делом. Лет мне было всего только пятнадцать, поэтому, «одолжив» документы у старшего брата Бориса, я кинулся поступать учиться на веселых, ловких, сильных, смелых «сверхчеловеков», живущих в фантастическом мире цирка!

Какой мальчишка не бредит цирком! Не летает во сне, как птица, под куполом, не крутит немыслимые сальто-мортале в залитом электрическим светом, сверкающем, манящем кольце циркового манежа!..

Осенью 1930 года Ленинградский эстрадно-цирковой техникум пополнился еще одним студентом — Борисом Жженовым. Я был принят на акробатическое отделение.

Из Бориса снова превратиться в Георгия не составило труда, мне этот «фокус» простили.

Уже через год вместе со своим однокашником Жоржем Смирновым мы срепетировали каскадный эксцентрический номер — «китайский стол» и начали выступать в Ленинградском цирке-шапито, как «2-ЖОРЖ-2», в жанре каскадной акробатики.

В цирке меня и «подсмотрели» киношники. Пригласили на киностудию «Ленфильм». Предложили сниматься в главной роли тракториста Пашки Ветрова в фильме «Ошибка героя».

На кинопробу взята была сцена объяснения в любви, с объятиями и поцелуями...

Мне не было еще и семнадцати лет, паренек я был целомудренный, застенчивый, любовного опыта не имел никакого, стеснялся и краснел ужасно. Дрожали руки и ноги, прыгали мышцы на лице... Не то что поцеловать — мне было стыдно взглянуть в глаза своей партнерше... вернее, партнершам. Так как в этот день на единственную женскую роль в фильме пробовалась не одна, а семь молодых и очень красивых, как мне тогда казалось, девушек. Семь молодых актрис!

С одной стороны, это еще больше усугубило мои страдания, с другой стороны, и облегчило: с каждой следующей партнершей я становился увереннее, свободнее, постепенно входил во вкус сцены, впервые познав живую прелесть долгих поцелуев, хотя и исполняемых публично, на людях, вроде бы понарошку, но настоящих до головокружения (кино прежде всего во всем любит достоверность).

Ко мне постепенно возвращалась нормальная пластика. Из манекена, деревянного робота я снова становился живым человеком.

К концу съемки, обнимаясь с шестой-седьмой кандидаткой в невесты, я освоился настолько, что спроси меня, с кем из них мне было особенно приятно играть, я, кажется, смог бы ответить!

Через несколько дней позвали посмотреть первые в моей жизни кинопробы. Увидев самого себя на экране, я пришел в такой ужас, что, не дождавшись конца показа, тихо, пока никто не видел, в темноте исчез из зрительного зала и убежал со стыда из студии. Я так расстроился, что несколько суток не показывался даже домой...

Позже выяснилось: меня искали.

Когда я явился домой, мать, стиравшая белье, подняла голову от корыта и, убедившись, что со мной ничего не случилось, сказала:

— Явился!.. За тобой приходили с «Ленфильма». Они утвердили тебя на что-то. Поздравляли меня. В общем, я ничего толком не поняла.

Так неожиданно для себя из циркового акробата я превратился в киноартиста. Но сила первого впечатления от самого себя жива! Прошло пятьдесят с лишним лет, а ощущение, похожее на стыд, продолжаю испытывать и теперь, когда вижу сам себя на экране.

Никаких особенных дивидендов фильм «Ошибка героя» не принес советскому кинематографу, разве что явился моим дебютом. И дебютом еще одного артиста — прекрасного артиста Ефима Копеляна.

Снимал фильм режиссер Эдуард Иогансон.

С этого фильма и началась моя бескорыстная любовь к кинематографу, продолжающаяся с некоторой взаимностью уже около шести десятков лет! И тысячу раз правы кинематографисты, говоря: «Кто однажды в жизни понюхал запах ацетона (запах пленки), тот никогда уже от этого запаха не отделается». Всей своей

жизнью свидетельствую, что это так! Во всяком случае, всегда, когда право и возможность выбирать профессию принадлежали мне, а не обстоятельствам, я возвращался в кинематограф.

Так впервые я поступил и тогда, в 1932 году, когда оставил после фильма цирк и поступил учиться на киноактерское отделение Ленинградского театрального училища к педагогу, ныне всемирно известному кинорежиссеру Сергею Аполлинариевичу Герасимову.

Ядреный запах манежа, запах здоровья я, не раздумывая, променял на запах ацетона!

А нежные чувства к цирку — при мне. Храню их всю жизнь, как первую любовь!.. Как юношескую романтическую попытку приобщения к прекрасному миру искусства.

Арест

Впервые в жизни я испытал настоящий страх ночью с 4 на 5 июля 1938 года.

В эту трагическую для меня ночь, возвращаясь домой, я увидел в створе открытой входной двери в мою квартиру дремлющего на сундуке под зеркалом нашего управдома рядышком с моей женой. Когда я, еще ничего не понимая, прикрыл за собой дверь, в поле моего зрения оказались еще двое: красноармеец с винтовкой и командир в форме НКВД. Оба вымокшие до нитки, у обоих под ногами по луже воды: на дворе громыхала гроза. У командира в руке были свернутые трубочкой какие-то бумаги.

Управдом, кивнув на меня, сказал:

— Он.

— Фамилия?— спросил командир.

— Жженов.

— Имя?

— Георгий.

— Отчество?

— Степанович.

— Год рождения?

— 1915-й.

Командир сверил ответы с данными в бумаге.

— Разрешите пройти в комнату. Вот ордер на обыск.

Он протянул мне бумагу, которую все время старался не замочить.

Моя реакция на пережитый страх была совершенно неожиданной: я уснул. Буквально как только начался обыск, я прилег на кровать и уснул... Вырубился, отключился, как отключаются предохранители в электросети, когда напряжение становится угрожающим и неизбежны замыкание, катастрофа.

Как все-таки удивительно и сложно создан человек!

Проснулся я, когда уже брезжил рассвет. Жена тихонько трогала меня за плечо и говорила: «Вставай, переоденься...» Обыск закончился.

— Подпишите акт,— сказал командир и добавил:— Вам придется поехать с нами.

— А ордер на арест у вас есть?— спросила жена.

— Конечно, а как же! — Командир раскрутил трубочку и вытащил еще одну казенную бумагу.— Пожалуйста.

Надо отдать должное: все формальности, связанные с обыском и арестом, были соблюдены. Все шло хорошо, тихо. Казенных бумаг хватало. Все, что следовало подписать, было подписано. Арестант проснулся и молчит — опять-таки хорошо. Вообще все хорошо! Вот разве только сам командир не знал, что же он искал всю эту ночь... Но это уже, как говорится, разговор другой. Важно, что приказ начальства выполнен «как положено». Ночь, слава богу, тоже прошла, уже утро — конец работе, прекрасно! Не придется ехать по следующему адресу.

Перед самым уходом на вопрос жены, надо ли мне что-нибудь взять с собой, командир ответил:

— Зачем? Если невиновен, вернется через несколько дней.

— Нет. Кто к вам попадает, скоро не возвращаются,— печально констатировала жена.

Говорить о том, что мы, ленинградцы, не знали о происходящих в городе массовых арестах, не приходится: конечно, знали. И обсуждали. Правда, в сугубо своем, родственном кругу, да и то с опаской, осторожно. В тридцать седьмой — тридцать восьмой годы мало кто кому доверял. Бывало, отец отказывался от сына, сын от отца,— к сожалению, бывало. Об этом знали, говорили и недоумевали, поражаясь количеству арестов. Но думали как-то умозрительно, как о чем-то происходящем вне нас, вне наших судеб,— поэтому даже в самом страшном сие

я и представить себе не мог, что когда-нибудь меня будут ждать в моей квартире вооруженные люди на предмет ареста. И все-таки это произошло... В ночь с 4 на 5 июля 1938 года случился самый страшный страх в моей жизни. Все последующие страхи, а они были, и не единожды, ни в какое сравнение с этим ночным страхом не шли. Поэтому она, эта ночь, и запомнилась в мельчайших деталях и навсегда.

...Запомнилась скорбная поза нашего дворника, сочувственно наблюдавшего, как меня вели под конвоем к ожидавшей у ворот «эмке»...

...Запомнилась и жуткая вежливость командира, предупредительно распахнувшего передо мной дверцу машины...

...Запомнилось и первое теплое, после ненастного июня, чистое, солнечное июльское утро — несчастное утро моей жизни!..

Я, заботливо стиснутый конвоирами, сидел в «эмке», идущей последним прощальным маршрутом с Первой линии моего родного Васильевского острова по набережной самой прекрасной в мире реки Невы, мимо моего детства — Меншиковского дворца, Ленинградского университета, где помещалась 204-я трудовая средняя школа, в которой я учился, и далее, мимо Зоологического музея, Академии наук на Дворцовый мост...

Судьба дала мне возможность попрощаться с бессмертным памятником Расстрелли — Зимним дворцом, Эрмитажем, в последний раз вспомнить Лизу из «Пиковой дамы». Машина прошла мимо Мраморного дворца к Дому ученых, обогнув Марсово поле и решетку Летнего сада, выехала на улицу Войнова (бывшая Шпалерная), пересекла Литейный проспект и остановилась у ничем не примечательных ворот «Большого дома», о котором позже сочинились строчки:

На улице Шпалерной
Стоит волшебный дом:
Войдешь в тот дом ребенком,
А выйдешь — стариком.

По сигналу «эмки» ворота гостеприимно распахнулись и поглотили вместе с машиной все двадцать две весны моей жизни. Такие понятия, как честь, справедливость, совесть, человеческое достоинство и обращение, остались по ту сторону ворот.

В регистрационной книге внутренней тюрьмы НКВД я значился 605-м поступившим в ее лоно в это ясное «урожайное» утро 1938 года.

«Кресты»

Опять весна... И опять снится мне тюрьма — наваждение какое-то!..

Опять я в «Крестах»... В самом чреве гудящего людского муравейника.

Меня ведут по натертому диабазовому полу корпуса, разделанного в виде замысловатых отсвечивающих полукружий, к крутым маршам железных лестниц, напоминающих корабельные трапы...

Вместо привычных потолочных перекрытий, разделяющих этажи, вдоль стен «висят» металлические конструкции галерей, на которые выходят бесчисленные двери камер...

Мы поднимаемся на самую верхнюю галерею, по висячему железному мосту переходим на противоположную сторону и идем вдоль камер в самый конец галереи, оповещая о своем приближении ударами огромного ключа по металлическим перилам галерки. (Сигнал, по которому надзиратели заранее убирали с нашего пути всех, кого вели навстречу. Никакнх контактов!)

С высоты пятого этажа галереи, внизу, во всей красе просматривается узор днабазового «паркета»— искусство тюремных полотеров из «принудчиков»...

На случай, если у заключенного возникнет вдруг фантазия совершить последннй полет с верхней галерки вниз, через весь корпус, на уровне второго этажа, от стены до стены, натянута металлическая сеть (наподобие цирковой), страхующая от подобных желаний покончить расчеты с жизнью...

«Кресты»— тюрьма одиночных камер. Лишь самые крайние на каждом ярусе галерей сдвоенные. Моя камера сдвоенная, крайняя... Нас в ней как сельдей в бочке! Вместо двух человек по иорме — двадцать одии человек, плюс «параша»— жуть!.. Она — единственное свободное пространство для вновь прибывшего. Некоторое время я и жил иа «параше», пока кого-то не выдернули из камеры «с вещами» и не произошла соответственая подвижка мест...

Смрад, духота, вонь!.. На оправку и к умывальникам выгоняют дважды в сутки — и все это «на рысях», в спешке. Тюрьма переполнена сверх предела. Пропускная способность не соответствует «урожаю» последних лет.

Весь тридцать восьмой год никаких прогулок, администрация не справляется.

Семь месяцев сижу без единого вызова — никакого движения. Где мое дело, в какой стадии следствия, не знаю. Сижу на консервации. Без конца требую бумагу для жалоб. Когда ее дают — пишу протесты во все инстанции, какие только могу придумать. Ни ответа, ни привета! Бесполезно. Глухо.

Кормят отвратительно. Начали появляться признаки цинги — кровоточат десны, шатаются зубы...

В один из редких обходов начальства пожаловался врачу. Врачиха (жена начальника тюрьмы) обещала выписать винегрет и обманула... Роскошная женщина, королева снов моих, моя богиня (влюбился в нее с первого взгляда), обманула меня как последняя сука!..

Пятьдесят лет прошло, а я и сейчас вижу ее, с пожаром медно-каштановых волос на царственной голове!.. Каждую весну она является мне во сне — красивая, статная, величаво-снисходительная, упоенная колдовской силой своего женского обаяния.

Я чуть ли не физически ощущаю прикосновение ее волос к своему лицу, презрительную нежность холеных рук, когда она с профессиональным бесстыдством ощупывает мое тело в поисках «автографов» следствия...

Слухи о том, что в следственных тюрьмах бьют, в конце концов перестали быть секретом НКВД. Шила в мешке не утаишь! Количество арестов поражало, рождало слухи, наводило на размышления, настораживало... Ленинградцы перестали спать по ночам, в страхе прислушиваясь к шагам на лестнице, к шуму ночного лифта.

«Великий вождь всех времен и народов» вынужден был в конце концов выступить с осуждением «некоторых перегибов и беззаконий», допущенных в процессе разоблачения врагов народа. Собственную вину за кровавые преступления и зверский произвол, чинимый над миллионами ничего не понимающих, ошарашенных людей, «отец родной» в очередной раз ловко переложил на плечи своих соратников из органов НКВД, не в меру послушно и ретиво уничтожавших цвет нации...

Осенью тридцать восьмого Хозяин с восточной беспощадностью убирал с игры слишком много знавших и потому опасных свидетелей. Он расправлялся с ними как с «нарушителями социалистической законности, не оправдавшими высокое доверие партии».

Был снят и расстрелян Н. Ежов. Один изувер уступил поле деятельности другому — Лаврентию Берии.

Этот вурдалак, дорвавшись до «карающего меча революции», для начала порубал им головы подручных своего предшественника, особенно замаранных в невинной крови сограждан и потому компрометирующих «святой» ореол Сталина.

Время переформирования сил в органах НКВД аукнулось в тюрьмах некоторым затишьем следственного произвола — Берия утверждал в массах свой авторитет! Охорашивался, заигрывал перед иародом, выдавая себя за кристально чистого рыцаря-чекиста, беспощадного к проявлениям превышения власти, стоящего на страже социалистической законности.

В последние месяцы тридцать восьмого года подрастряслись и разгрузились «Кресты»... Поубавилось народу в камерах. Все чаще раздавалась команда «с вещами!». В одиночках, где совсем недавно сидело десять-двенадцать человек, теперь осталось шесть-семь... Кое-кому, под шумок, удалось выскочить и на свободу.

Случаи освобождения из тюрем центральная пресса расписывала как результат своевременного вмешательства партии и правительства, положивших конец преступным действиям врага народа Ежова и его приспешников.

Газеты с чудовищным цинизмом уверяли своих читателей в том, что они имеют счастье жить в том единственном в мире справедливом социалистическом обществе, где клевета и оговор обречены, где честь и личные свободы граждан надежно защищены самой гуманной в мире Сталииской конституцией!

Тем самым народу внушалось, что невиновные выпущены или будут выпущены в ближайшее время (их дела пересматриваются), а все те, кто остаются сидеть в тюрьмах, отправлены в лагеря или расстреляны — действительно врагн народа.

Наконец и на одну из моих жалоб-протестов «пал выигрыш»— меня вызвали к тюремному врачу.

— Ну, здравствуй, поэт! Рада тебя снова видеть, раздевайся. Показывай свои синяки-шишки.

— Какие шишки?— не понял я.

— Ты же писал, что тебя били?.. Показывай следы избиений, переломов, увечий... В общем, всего, что оставило следы на теле.

— Увечий пока, слава богу, ие было, а что касается всего остального... Вам надо было свидетельствовать месяцев восемь назад. Вы вчерашний день ищете, доктор.

— Успокойся, поэт, и не огорчайся. Все, кто бил тебя, сами давно сидят!

— А мне какая от этого радость? Они сидят, и я сижу.

— Дурной какой! Это же хорошо, что долго сидишь... Хороший признак!.. Значит, не знают, что делать с тобой: выпускать — не выпускать. Глядишь, и на волю выскочишь!.. Чем черт не шутит. Сейчас все может быть. В крайнем случае, получишь лет пять, ты молодой, у тебя вся жизнь впереди. Поедешь на Колыму — там апельсины растут... Не унывай, поэт!

Королева снов моих, моя богиня сегодня благосклонна ко мне, она явно кокетничает, играет, как кошка беспомощным мышонком. Я прощаю ей все и не протестую. Мне приятно...

Мы уже знакомы. Больше того, по-моему, у нас «роман». К сожалению, платонический.

Знакомство наше случилось в канун ноябрьских торжеств. Перед каждым советским праздником в тюрьме учинялся тщательный «шмон», на предмет изъятия запрещенных предметов. Изымалась бумага во всех ее видах, вплоть до мундштуков от папирос. Отбирались все острые предметы и все красное (на время праздника).

Мне предложено было снять штаны. Красные лыжные штаны... Видно, опасались, как бы в юбилей Великой Октябрьской революции я не стал размахивать ими сквозь намордник зарешеченного окошка камеры. Наподобие известного плаката МОПРа.

Я отказался подчиниться. На меня прикрикнули, пригрозили карцером.

— Не имеете права!— возмущался я.— Это грабеж.

— Не положено,— отвечали мне.

— А сидеть в ноябре без штанов положено? Дайте мне какую-нибудь сменку, что ли...

— Посидишь без штанов, ничего с тобой не сделается. После праздника отдадим.

Штаны унесли.

Вслед за «шмоном» накатилась следующая предпраздничная волна — тюремный обход. В камеру вошли начальник тюрьмы, корпусной начальник, тюремный врач, некто из прокурорского надзора и представитель от исполкома Ленсовета.

— Жалобы есть?— спросил начальник тюрьмы.

— Есть!— сказал я.— Прошу извинения перед дамой, но с меня только что сняли штаны... Можете убедиться!

Начальник тюрьмы вопросительно повернулся к корпусному.

— Товарищ начальник,— отрапортовал корпусной,— надзиратели действовали согласно инструкции. После праздника штаны заключенному будут возвращены.

— Я не привык ходить без штанов... Тем более в такой праздник. Мне холодно... Не хотите отдать мои штаны — дайте другие... Мой размер пятидесятый!

Инцидент все больше приобретал комическую окраску. В камере еле сдерживались от смеха. «Концерт» со штанами обещал развлечение.

Спасая серьезность момента, начальник тюрьмы отдал распоряжение заменить мне штаны.

Задал свой корониый вопрос и представитель исполкома, отрабатывая тем самым свое присутствие в составе обхода.

— Как кормят?— спросил он.

Как будто от нашего ответа что-то могло измениться...

Мои сокамерники повернули головы ко мне, как бы уполномачивая меня отвечать. Сегодня я вел «концерт».

— Как и во всякой тюрьме — плохо!— разозлился я.— Как-как?! Какая разница? В одной тюрьме чуть лучше, в другой — чуть хуже. А в общем-то... везде паршиво.

— Почему?.. На Шпалерке, например, кормят лучше. Хоть пайка там и меньше, зато приварок... Кашу дают,— сказал кто-то.

— Кому нравится Шпалерка, могу посодействовать,— улыбнулся начальник тюрьмы.

— Что вы, что вы,— замахал я руками.— Вы не так поняли товарища. Он этой кашей сыт по горло! До сих пор кровью харкает — там бьют!.. Мы этой кашей наелись досыта.

— Ко мне вопросы есть?— подал голос прокурор по надзору.

Камеру прорвало. Почему бьют? Когда выпустят? Долго ли еще сидеть здесь? Почему нет прогулок? Когда снимут позорные намордники с окон?— кислороду не хватает, в камерах духота — спичка не загорается.

— Ваши «когда» и «почему» вне моей компетенции,— развел руками некто из прокуратуры.— Ответы получите по мере разрешения их соответствующими инстанциями.

— Премного благодарны!— поклонился я ему в пояс.— Более исчерпывающего ответа мы и не ожидали от вас, спасибо! Низкий поклон вашим коллегам!.. Скажите, доктор!— обратился я к врачихе.— Может быть, в вашей компетенции выписать порцию винегрета, зубы начали шататься?

Она подошла ко мне, оттянула пальцами нижние веки глаз... Потом осмотрела вспухшие десны зубов, спросила фамилию. Я назвал. Встретив непривычное сочетание «жж», записала в свою тетрадь и ласково пообещала: «Вызову». Обход закончился.

Никаких штанов в праздники мне не принесли. К врачу меня не вызывали. Обещанный винегрет жду до сих пор.

Полгода спустя мы свиделись снова.

На этот раз ее вызвали в связи с приступом эпилепсии, случившимся с одним из заключенных.

До прихода врача мы всей камерой, как могли, старались облегчить бедняге страдания: просунули ему между зубов черенок деревянной ложки, чтобы не поранился и не откусил себе язык в конвульсиях, как это часто случается, подложили под голову мягкое, оберегая от ударов о цементный пол... Словом, пытались всячески помочь ему.

Когда припадок наконец иссяк и больной пришел в себя, понемногу затих и успокоился, в камеру явилась и долгожданная медицина.

Благоухая как цветущий дендрарий, моя любовь одарила всех нас очаровательной улыбкой.

— Ну, что у вас тут произошло, мальчики?— бодрым, как на физзарядке, голосом спросила она.

Ей объяснили. Подойдя к больному, она заговорила с ним... Взяв его руку, послушала пульс... Решив, что следует проверить температуру, поставила под мышку градусник... Все проделывалось не спеша, с сознанием собственной неотразимости.

Способность этой красивой женщины нравиться самой себе и получать от этого удовольствие — восхищала!

Я сидел на топчане, тихонько шептал какие-то стихи и откровенно любовался ею.

Она услышала, повернулась ко мне:

— Стишки читаешь, поэт?.. Ну-ка, ну-ка, чего ты там бубнишь, повтори.

— Вам как, доктор, читать — с выражением?

— Читай с выражением,— разрешила она.

Со всей задушевностью, на какую только способен, я начал:

Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя смотрел и думал: ты моя,—
Ты знаешь, милая! Желал ли славы я...

В этом месте, на всякий случай, я сделал паузу, давая ей возможность прервать меня, прекратить мою трепатню... Но она молчала. Ждала...

Я продолжал:

Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальнему упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил...—

и замолчал...

— Ну, ну, что остановился? Читай дальше,— нетерпеливо потребовала она.— Ты, что ли, это сочинил?

— Да. Вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным.

— А!.. Ну читай, читай, я слушаю.

— В следующий раз, доктор! Обещаю к майскому обходу сочинить стихи и посвятить вам лично.

— А не забудешь, поэт?

— Я не забуду. Не забудьте прийти вы, доктор.

— Ладно. Договорились. Так и быть, в награду выпишу тебе рыбий жир,— пообещала она.— Только придется потерпеть, поэт!..

— Опять потерпеть!

— Ничего не поделаешь: сейчас весна, рыбий жир портится. Тебе начнут давать его осенью.

Щедрая моя! Ей и в голову не вступило, что в своем восторженном эгоизме она пророчит сидеть мне всю весну, лето... осень.

— Осенью, значит...— разочарованно протянул я.— Это как с винегретом, что ли?

— Каким винегретом?

— Забыли, доктор? Прошлой осенью, во время ноябрьского обхода, вы обещали мне выписать винегрет, помните?

— Да?.. Обещала?.. Не помню,— искренне призналась она.— Может, и забыла, хотя вряд ли... Скорее всего, возможности тогда не было. Вас ведь много, а я одна!.. Меня на всех не хватит. Все, что вам положено,— отдаю. Я лично ваш винегрет не ем. Так-то, поэт! Жду стихи.

Свое обещание я сдержал. Стихи сочинились в одно усилие, легко:

Пришла весна. На север потянули гуси.
А я все жду ее, но тщетно, нет —
Я не дождуся той Маруси,
Что носит в чаше винегрет.
О, милый друг, не плачь,—
Сказал тюремный врач.
Взамен получишь жир рыбицы,
Но, правда, когда птицы...
От севера потянутся на юг!

В сентябре 1939 года, когда птицы потянулись на юг, меня в числе других согнали вниз, на «пятачок» корпуса, к кабинету начальника тюрьмы, «за получкой».

Выйдя из кабинета начальника, я увидел в проеме открытой двери медсанчасти мою любовь... Она приветливо махала мне рукой и улыбалась:

— Ну, как дела, поэт?.. Сколько?

— Вы угадали, доктор: пять лет Колымы!

— Вот видишь... Не горюй, поэт! Там апельсины растут! Все будет хорошо.

На столике у нее стоял в стакане букет ромашек. Она вынула один цветок и с улыбкой протянула мне:

— На память тебе, поэт! Прощай.

Когда цветок стал вянуть, я не удержался и сыграл с ним в «вернусь — не вернусь»...

Последний лепесток на ромашке носил имя: «вернусь».

Что ж!.. Какая ни есть, а надежда.

47-й километр

Ноябрь 1939 года, Колыма. Небольшая лагерная командировка Дукчанского леспромхоза —47-й километр. Основной комендантский лагерный пункт (ОЛП) находится на 23-м —6-м километре Магаданской трассы (23 километра по трассе и 6 километров в тайгу). Все начальство, лагерное и производственное,— там; поэтому до поры до времени живем, можно сказать, вольготно. Наш лагерь еще только строится. Работаем бесконвойно. Унижений, связанных с положением и режимом содержания заключенного, почти не испытываем. Валим тайгу.

47-й километр (счет километрам идет от Магадана) существует с начала тридцатых годов. Первыми в нем селились колонисты. Колонисты — репрессированные граждане из различных районов Европейской России, в основном крестьяне, которым вместо содержания в лагере под стражей разрешено было селиться на Колыме вольно, строиться, вызывать семьи с «материка», в общем, пускать корни, при одном обязательном условии — корни пускать навечно.

Невдалеке от рубленных на сибирский манер домов колонистов, подальше от трассы и поближе к тайге, бойко строился наш лагерь. Уже стояли два-три барака, человек на сто пятьдесят, несколько хозяйственных построек, столовая, на крыльце которой всегда стояли две бочки с соленой горбушей — ешь сколько хочешь, «от пуза»! Меньше чем через год, вспоминая об этом, сами удивлялись: неужели когда-нибудь это было?! Как, впрочем, и многое другое, относящееся к мирным, довоенным дням. Особняком стояли механический цех леспромхоза, гараж и хутор охраны лагеря — вохры. Зоны лагеря не было. Она обозначалась чисто символически — «скворцы» еще не прилетели. «Скворцами» называли вольнонаемную охрану лагерей, в основном вербуемую из демобилизованных из армии солдат, как правило, выходцев с Украины, из Средней Азии и Приуралья, которые с весенней навигацией прибывали с «материка» на Колыму и заселяли построенные для них охранные вышки-«скворечни», установленные по всем четырем углам зоны лагеря.

Вывод бригад на работу и возвращение регистрировались комендантом лагеря. Каждый бригадир отвечал

за количество людей, выведенных на работу из лагеря, о чем расписывался в журнале на вахте.

Вахта же являлась и своего рода сигналом времени. Подъем, развод, обед, отбой и другие чрезвычайности вызванивались ударами железяки по куску рельса, подвешенному к лиственнице. При «курантах» неизменно состоял полковник, инспектор кавалерии штаба Ленинградского военного округа, кавалер орденов Боевого Красного Знамени, георгиевский кавалер, один из командиров «дикой дивизии» в гражданскую войну, заключенный Борис Борисович Ибрагимбеков (Ибрагим-Бек). Святой человек! Умер на «инвалидке» 23-го —6-го километра в 1943 году.

Путь на работу к делянкам лежал мимо домов колонистов. Мы всегда иоровили держаться поближе к ним. Жалостливые бабы-колонистки, завидя нас, подзывали самых молоденьких, выносили из сеней пригоршни заготовленных на зиму, замороженных пельменей и высыпали их в наши закопченные консервные банки-котелки, по-матерински причитая на наш счет.

Вечная и прекрасная черта русских женщин — сердоболие! Слово-то какое удивительное!

Пельмени мы с наслаждением поедали потом в тайге, разогрев на костре во время перерыва. Колыма — лесотундра. Тайга редкая, чахлая. Корни деревьев стелются подо мхом поверху, глубже — вечная мерзлота. Летом земля оттаивает на 15—20 сантиметров, не больше. Ударь покрепче плечом — и лиственница легко падает. Дерево живет недолго. Много сухостоя, особенно на сопках.

Валим тайгу по старинке — топор да пила, техники никакой. Работаем обыкновенной двуручной пилой —«тебе — себе — начальнику»... Норму, хотя она и значительно ниже, чем где-нибудь на «материке», выполнить трудно: лес редкий. Годен разве что на дрова. Лиственница мелкая, вымерзшая, больная... Боже мой! Сколько же надо было навалить ее, разделать от сучьев и потаскать на своем горбу в штабеля, чтобы выполнить норму! Пилим двухметровыми. Штабеля ставим от двух «кубиков» и больше. Меньше двух кубометров в замере десятник не примет: чем мельче штабель, тем труднее будет вывозка зимой: лошадь, она тоже не двужильная! Вот и ворочаем дрыном, то кантуя, то таская на себе двухметровые лесины, укладывая их в штабеля покрупнее. Ловчим, конечно, строим «туфтовые» штабеля, а что де-

лать? Летом топтать тайгу в болотной жиже, на комарах, задыхаясь в накомарниках,— это не сахар. Или зимой, в сорока-, пятидесятиградусный мороз, по пояс в снегу, в нелепых «куропатках»— обуви из старых автомобильных покрышек, рожденной лагерными «модельерами» в военные годы взамен вышедшим из моды на Колыме уютным и теплым валенкам. Их не хватало в те трудные годы и на фронте.

За два года жизни на 47-м километре освоил несколько профессий. Из всего лесорубского процесса — повал, разделка и штабелевка — предпочитал штабелевку: меньше болела поясница.

Работал водителем на автомашинах ГАЗ-АА, ЗИС-5 и ЗИС-15 («газген»). Мучился с газогенератором нещадно, пропади он пропадом! Топливо местное — чурка лиственницы. Сырая, некалорийная. Машина не только груз, себя не тянула. Шоферил с перерывами. Начальство за разного рода провинности, действительные и мнимые, часто снимало с машины и наказывало, отправляя либо на лесоповал, либо грузить лес или дрова.

К слову сказать, о начале Великой Отечественной войны и узнал, будучи за баранкой.

В прохладный день 22 июня 1941 года я ехал по трассе с каким-то грузом. На оперпосту 47-го километра остановился перед закрытым шлагбаумом. Стрелок потребовал документы. Я подал ему водительское удостоверение. Поняв, что я заключенный, стрелок распорядился поставить машину в сторону, а мне приказал следовать за ним на оперпост. Там он созвонился по телефону с диспетчером гаража и потребовал прислать вольнонаемного водителя, сославшись на приказ из Магадана. На мой недоуменный вопрос, в чем дело, что случилось, он ответил: война.

Жуткое чувство огромного несчастья, случившегося в мире, полоснуло по сердцу болью и страхом. Итак, война!.. Все-таки — война.

Мировая война, неотвратимо надвигавшаяся последние годы на человечество, началась. Две ненавистные друг другу системы, две идеологии столкнулись наконец в смертельной схватке, в схватке не на жизнь, а на смерть!

Пожар, зажженный Гитлером на западе Европы, неизбежно устремился на восток, пожирая на своем гибельном пути пространство и людей.

Короленко писал: «За Уралом лес рубят, в Сибирь щепки летят!» Многие из нас оказались в лагерях беспомощными «щепками» чудовищной политической ситуации, сложившейся в нашей стране, когда в результате преступной деятельности всякой сволочи — карьеристов, параноиков и просто идиотов, прорвавшихся к власти,— миллионы ни в чем не повинных людей, истинно русских, советских граждан, партийных и беспартийиых, независимо от возраста и национальности, оказались в тюрьмах и лагерях с позорной биркой измеиииков Родины, шпионов, диверсантов, террористов и прочих антисоветчиков...

Тогда, несмотря иа репрессии, которым нас подвергало Особое совещание НКВД СССР, несмотря на лагерный произвол — предвестник приближающейся войны, в нас жила надежда, что в Москве разберутся, кто есть кто. И как могло случиться, что через мясорубку тридцать седьмого, тридцать восьмого годов пропустили едва ли не лучшую часть поколения советских, партийных, военных кадров, лучшую часть интеллигенции?!

Поразительно, что эта акция, этот сенокос был учинен в канун войны, то есть как раз тогда, когда страна, весь ее народ, как никогда, должен был объединиться в едином союзе, в едином патриотическом монолите против надвигавшегося фашизма.

22 июня 1941 года стало ясио, что государству в течение ближайших лет будет не до нас, не до наших проблем. А это значило, как сказал А. Фадеев в последней фразе романа «Разгром», «надо было жить и исполнять свои обязанности». Время испытаний еще только начиналось... Наверное, отчаянная вера в жизнь и смогла исторгнуть из обиженной души незамысловатые стихи, иацарапанные мною на стене тюремного карцера в ленинградских «Крестах» в 1939 году:

Придет тот час, когда отсюда,
Из этой камеры сырой,
Я выйду, и раскроет всюду
Все двери «цирик» предо миой!

Я возвращусь в тот мир, где прежде
Свободиым граждаиином был,
Где, преисполиенный надежды,
Мечтал, работал и любил!

В тот мир, где юность дней искрилась,
Где славить солнце дал обет,
В тот мир, где вера в справедливость
Была девизом многих лет!

И тот из нас, кто сумел сохранить веру, нашел в себе силы «жить и исполнять свои обязанности»— выжил, кто не сохранил — погиб.

Потому как «деньги потерял — ничего не потерял, здоровье потерял — кое-что потерял, веру потерял — все потерял!».

Саночки

Прииск агонизировал.

Все началось полгода назад, летом, когда «Верхний» еще только организовывался. «Верхним» он назывался потому, что находился в самом дальнем, верхнем конце распадка, между сопками, у самых истоков ключа, по руслу которого проходил единственный транспортный путь.

Из Магадана грузы шли по центральной трассе — главной жизненной артерии Колымы до поселка Оротукан; затем по круглогодично действующей дороге на нижний участок прииска —«17-й», расположенный в долине, на выходе из распадка, у подножия сопок; здесь дорога кончалась. Дальше десять километров в сопки только пешком или тракторами в сухое время года по высохшему, каменистому руслу ключа до «Верхнего».

На прииске добывали касситерит — оловянный камень. Главный рудный минерал для получения олова.

Шла война. Касситерит был необходим военной промышленности страны. Его добыче на рудниках и приисках Дальстроя придавалось огромное значение — не меньшее, чем добыче золота.

Выполнение плана было равносильно выполнению воинского приказа. Никакие объективные причины срыва в расчет не принимались. С приискового начальства спрашивалось жестко и строго. Оно обязано было отчитываться перед Магаданом ежесуточно. В свою очередь, и начальство не давало поблажек своим подчиненным на прииске...

Из Магадана на «Верхний» было заброшено несколько этапов с заключенными.

Едва разместив людей в наскоро сколоченных бараках и палатках, начальство уже на следующий день по прибытии этапа выгнало всех в забои на работу.

Июль месяц стоял на редкость сухой и теплый.

Производственное начальство прииска, используя благоприятную погоду, усиленно завозило с «17-го» различное оборудование и механизмы. Трактора с гружеными санями беспрерывно подвозили все новые и новые грузы...

Лагерное начальство, вместо того чтобы подготовить к холодам бараки, своевременно, посуху обеспечить лагерь необходимым на зиму продовольствием и теплой одеждой, занималось созданием уютных условий жизни охраны лагеря (вохры) да «проблемой» колючей проволоки для ограждения зоны лагеря.

Вся техника — трактора и весь остальной транспорт — дымила в небо соляркой, подвозя стройматериалы для изб охраны и сторожевых вышек («скворечен»), возводимых по всем четырем углам зоны лагеря.

Сама вахта с новыми, пахнущими живой лиственницей воротами была уже гостеприимно распахнута.

Над воротами — во всю ширь, от столба к столбу — сияла фанерная «радуга», задрапированная присобаченным к ней кумачовым транспарантом: «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства!»

Однажды уставшее за день солнышко, весь месяц ласково светившее работающим людям, скрашивая их тяжелый подневольный труд, свалилось на закате в огромную лиловую тучу.

Утром, после душной ночи, когда бригады, выстроенные на развод у вахты, разбирал конвой, с серого как портянка, низкого неба упали первые редкие капли... Погода явно менялась. Начался дождь, равномерно барабаня по брезентовым спинам конвоя и пузырясь в образовавшихся на дороге лужах.

Когда бригады дотянулись до забоя и начали нагружать скальной породой тачки и отгонять их в приемные бункера приборов, с неба уже вовсю лились «библейские» потоки...

Поплыли по намокшей подошве забоя деревянные трапы... Ноги с налипшей на них глиной делались стопудовыми, скользили и разъезжались... Груженые тачки заваливались с трапов в грязь, глина липла к лопатам, не вываливалась из тачек... Нечеловеческие уси-

лия требовались, чтобы удержать опрокинутую груженую тачку и не дать ей свалиться в бункер вместе с породой...

Вымокшие, с ног до головы измазанные в глине люди из последних сил терпели, ожидая минуты, когда конвой поведет их наконец в лагерь, где можно хоть на короткое время укрыться от дождя, обсохнуть и проглотить свой обед...

Но накормить в этот день людей не удалось: залило дождем обеденные котлы, чадили и не разгоралнсь плиты, внутри наспех сооруженной кухни шел дождь...

Здоровьем заключенных расплачивалось начальство за собственное легкомыслие.

Потекли и крыши бараков. Намокли постели. Дневальные круглые сутки шуровали печи. В не просыхавших за ночь «шмотках»— матрацах и подушках,— в одежде, развешенной на просушку вокруг раскаленных докрасна бочек из-под солидола, превращениых в печи, завелись белые помойные черви...

Как и всегда, беда не приходит одна!.. После непрерывного, в течение шести суток, летнего проливного дождя, во время которого работы в забоях не прекращались ни на минуту, вдруг ударили морозы — не заморозки, настоящие морозы с температурой минус 20—25 градусов!

Полуголодные, измученные, больные люди натягивали на себя влажное, дымящееся от пара тряпье, мгновенно становившееся колом на морозе, и брели в этом задубевшем панцире в забои отрывать тачки, кайла, лопаты и прочий нехитрый инструмент забойщика, намертво вмерзший в землю.

Самое выносливое существо на свете — человек!

Чего только ему не приходилось преодолевать: голод, холод, болезни, одиночество!.. Зверь гибнет — человек живет! Особенно русский человек!.. Какие только испытания на прочность не выпадали на долю русского человека! Рабство, нашествия, стихийные бедствия, эпидемии, войны... В руках каких только политических авантюристов не побывал русский человек! Вся история народа российского есть бесконечная борьба за жизнь, за выживание.

Какое-то проклятье нависло и над «Верхним».

Едва только люди свыклись с неожиданными морозами и у них затеплилась надежда: с «17-го» вышли

два трактора с грузом продовольствия и зимних теплых вещей для лагеря,— погода преподнесла еще один сюрприз — налетела пурга!

Налетела внезапно, мгновенно смешав небо с землею.

Шквальный ветер с ураганной скоростью гонял по промерзшей земле сотни тонн колючего, жалящего снега, от которого не было спасения нигде·Снежная круговерть, несколько дней хозяйничавшая вокруг, завалила двухметровыми сугробами все забои и все подходы к ним...

Оказалась забитой снегом и единственная дорога по ключу, откуда шли трактора с продовольствием и обмундированием иа помощь попавшим в беду людям.

Каравану не повезло. Он был застигнут в пути ураганной пургой и безнадежно застрял в вымерзшем ключе. Что было полегче (в основном обмундирование), пурга разметала по распадку в разные стороны, все остальное вместе с тракторами и санями с продовольствием похоронила в наметенных завалах твердого, как камень, спрессованного снега, превратив до весны в часть колымского пейзажа...

Когда пурга стихла, была предпринята попытка сбросить продовольствие с самолета, но и она окончилась неудачей: то ли из-за ошибки летчика, то ли из-за плохой видимости груз упал в нескольких километрах от лагеря в сопки. Лишь незначительная его часть угодила на территорию принска.

Транспортная связь с внешним миром прекратилась. Положение на «Верхнем» становилось все более отчаянным.

Кончались продукты. Уже несколько дней в обеденные котлы бросали для навара пустые мешки из-под муки, чтобы хоть как-то замутить воду и создать иллюзию съедобности. Как ни экономило начальство, сколько ни растягивало остатки муки, сокращая суточную выдачу хлеба до блокадной ленинградской нормы, настал день, когда мука на складе кончилась совсем.

Голод все больше и больше давал о себе знать. Его уже чувствовали не только заключенные. Охрана и вольнонаемные работники также подтянули пояса и сели на непривычный для себя полуголодный паек. Правда, как только стихла пурга, они протоптали пешую тропинку на «17-й» и, благо сил хватало, носили на себе или возили на санках необходимые продукты. Во всяком случае, голодная смерть им не грозила.

Хуже пришлось заключенным. В лагере уже вовсю свирепствовала цинга и дизентерия... Так же как кварц является спутником золота, так и эти болезни являются постоянными спутниками голода.

Невероятно исхудавшие или, наоборот, распухшие от цинги, пораженные фурункулезом люди жалкими кучками лепились к стенам лагерной кухни, заглядывали в щели и лихорадочными, воспаленными глазами сумасшедших следили за приготовлением пищи...

Тут же, на этом «толчке», заключались самые невероятные сделки: черпак завтрашней баланды или завтрашний кусок хлеба выменивались на сегодняшнюю очередь за обедом или на сегодняшнее теплое место у печи в бараке... Чудом сохраненный окурок менялся на пайку хлеба или, наоборот,— пайка на окурок... Продавалась очередь за пищей только что умершего, но еще не списанного с довольствия товарища.. Все «завтрашнее» не котировалось — в цене было только сегодняшнее.

В промерзших бараках, на уцелевших «островках» нар, валялись, тесно прижавшись друг к другу от холода, больные голодные люди.

Каждое утро на нарах оставалось несколько умерших («давших дуба») заключенных. Их скрюченные, застывшие тела в примерзших к изголовью шапках стаскивали с нар, волоком тащили за зону лагеря и где-нибудь подальше от людских глаз прикапывали до весны в снег. Кайлить, «выгрызать» могилы в вечной мерзлоте не было сил. Мертвые «сраму не имут», подождут, не обидятся, им не к спеху!

Доски и жерди с освободившихся нар тут же шли в печь. Карабкаться за сухостоем на склоны сопок по уши в снегу посильно здоровому человеку, а их в лагере оставались единицы.

С каждым днем все меньше и меньше способных передвигать ноги заключенных выходило утром на развод к вахте.

Голодный, злой конвой вел их за перевал в сопки на поиски упавших с самолета продуктов. На выходе нз поселка, проходя мимо механического цеха, где под навесом стояли железные бочки с техническим солндолом для смазки тракторов и прочей техники, наиболее слабые, потерявшне над собой волю и контроль заключенные набрасывались на солидол и, судорожно давясь,

запихивали его в рот, стараясь скорее проглотить, пока конвой или бригадир не отгонит их.

Цинга отняла у людей и последнюю волю, валила с ног. Человеком овладевала апатия, безразличие ко всему, покорность судьбе... Приближающаяся смерть уже не пугала, а скорее была желанной. В эту зиму смерть стала привычным, не вызывающим никаких сострадательных эмоций явлением. Из семисот с лишним человек, населявших лагерь, перезимовала только половина.

По весне из-под подтаявшего снега торчали конечности человеческих тел, как бы с мольбой взывая к живым о захоронении по-христиански, в землю. С теплом это и делалось. Заключенные хоронили из милосердия, начальство — по обязанности, из соображений санитарии.

* * *

Снег начался к вечеру и падал всю ночь, оттепельный, набухший, тяжелыми хлопьями ложась на обезображенную землю. Нагое тело мерзлой земли, истерзанное массовыми взрывами, исцарапанное когтями экскаваторных ковшей, вдоль и поперек перелопаченное в поисках золота и касситерита, окуталось за ночь саваном чистого нехоженого снега...

К утру потянуло на мороз... Вызвездило небо. Весь распадок между сопками являл, насколько хватало глаз, царство вечного девственного снега...

Разбросанные по забоям темные силуэты занесенных снегом экскаваторов с вытянутыми в небо хоботами напоминали останки давно вымерших доисторических чудовищ...

Ни зверь, ни человек, казалось, никогда не ступали здесь... И только ночью, как бы подчеркивая космическую звенящую тишину ледяного безмолвия, было слышно упругое характерное «бык-пык-бык-пык-бык-пык...» двухтактной «Червонки», выдававшей лагерю тусклый электрический свет, да изредка карканье огромной вещей птицы — колымского ворона, не к добру зачастившего в эти края...

Но и эти звуки смолкали, едва начинало брезжить на востоке.

«Придет или нет?» Я неотрывно всматривался в занесенную снегом, пустынную в свете луны тропинку,

протоптанную от бани в сторону вольного поселка. От напряжения и мороза слезились глаза. Отдаваясь тупой болью в висках, где-то под самым горлом нехорошо билось сердце...

«Неужели не придет?» Петляя по пологому склону сопки, тропинка убегала вверх к линии горизонта и исчезала там, растворяясь во мгле предутренних сумерек... Никого.

«Неужели обманет?» Вчера вечером, уходя из бани распаренный и довольный, он пристально оглядел меня с ног до головы и, как бы окончательно решившись на что-то, ему одному ведомое, с усмешкой бросил:

— Ладно. Рано утром зайду за тобой! Жди.

И вот я жду.

Жду, как подсудимый ждет минуты вынесения приговора...

Жду, понимая, что другого выхода у меня нет и не будет никогда.

Вчера судьба неожиданно подарила мне последний шанс. Я обязан воспользоваться им, пока еще на ногах, пока цинга не отняла остаток моей воли окончательно.

Хватит ли у меня сил — стараюсь не думать сейчас. Этот вопрос еще встанет передо мной во всей своей беспощадной яви позже, когда он придет... если, конечно, он придет.

Хватит ли сил?.. Может, и не хватит... Скорее всего не хватит, как не хватило их в прошлый раз, когда я наконец собрался с духом и рискнул пойти.

Тогда,пять дней назад, я переоценил свои возможности, не рассчитал сил. Их оказалось меньше, чем я предполагал. Я посчитал, что меня хватит если не на все двадцать километров пути туда и обратно, то уж, во всяком случае, на половину — до «17-го».

«Лишь бы добраться до него,— думал я тогда.— Обратно идти будет легче...»

«17-й» являлся тем заколдованным местом, к которому я, подобно Иванушке из русской сказки, стремился во что бы то нн стало, через все испытания и преграды — там ждала меня жизнь!.. Туда пришли две посылки, посланные мне матерью из Ленинграда в 1939 году.

Жизнь, искавшая меня в течение трех лет по разным лагерям Колымы и нашедшая в самый критический момент, когда я, голодный, потерявший всякую надежду,

медленно умирал от цинги где-то в богом проклятом месте, «у черта на куличках», в заледенелом распадке Оротуканских сопок...

Что это? Стечение обстоятельств? Перст божий, сотворивший чудо?.. Телепатия?! Может быть, и так, конечно, но скорее всего — никакое это не чудо, а просто вещее сердце Матери с его никогда не умирающей верой и надеждой!

О посылках я узнал в один из банных для «вольняшек» дней, когда начальник лагеря зашел в баню, попариться с мороза.

— Все еще живой, артист?!— удивился он, увидев меня на обычном месте за горящим бойлером.— Долгожитель!.. Хочешь — обрадую? Посылки пришли тебе из Ленинграда.— Новость была настолько невероятна, что я никак не отреагировал.

— Чего не радуешься?— Мое молчание его озадачило. Зная, как быстро начальство меняет милость на гнев, я решил не испытывать судьбу по пустякам.

— А это правда?— сказал я.— Где они?

— На «17-м», где же еще!

— Так пошлите за ними кого-нибудь, гражданин начальник!

Он рассмеялся:

— Кого я пошлю?.. Хочешь жить — сам сходишь.

— Мне не дойти. Вы же сами видите, в каком я состоянии...

— А у меня весь лагерь в таком состоянии...— еще пуще развеселился он.— Вот так-то, артист! Десять километров всего — и ты живой, думай!.. Сходить на «17-й» я разрешаю тебе.

Когда начальник ушел, мне стало страшно. Я понял, что он не шутил,— посылки существовали. Но, к сожалению, пришли они слишком поздно — они опоздали. Про меня, уже не стесняясь, говорили: «Этот — местный!»

Честно говоря, признаки близкого «финиша» я и сам чувствовал — мне было безразлично все!.. Моя песня на этом свете была спета!

Такое состояние испытывает замерзающий, когда физическая боль ушла, покинула тело и человеку стало вдруг неожиданно легко... Лишь бы не тревожили его, не мучили, а оставили бы навсегда в покое...

И вот это смирение перед неизбежностью, в котором я находился и из которого, казалось, ничего уже не

могло меня вывести, разлетелось вдребезги. От покоя не осталось и следа.

Сообщение о посылках, ждущих меня всего в десяти километрах, занозой вошло в заторможенное цингой сознание, бередя его, рождая непонятное беспокойство, лихорадочную необходимость сосредоточиться на чем-то, ускользающем из сознания, и действовать, действовать... Я почти перестал спать. Меня мучили видения... Огонек надежды лампадным язычком затеплился во мне и, постепенно разгораясь все ярче и ярче, ширился, растворяя десятикилометровую толщу мрака, которую мне предстояло преодолеть... Там, далеко, на выходе из этого бесконечного мрака, чудились мне луковые и чесночные заросли, меня ждали горы колбасы, сыра, масла... запах хлеба, табака... Я стал галлюцинировать.

Понимая, что шансов добраться до посылок с каждым днем становится меньше и меньше, что надо торопиться, и в то же время сознавая, что сил мало, в последующие несколько дней старался всячески экономить их. Пообещав банщику поделиться содержимым будущих посылок, уговорил освободить меня от заготовки дров и стирки белья. Правдами и неправдами добывал лишний черпак баланды, выторговывал на «толчке» драгоценный кусок хлеба, старался меньше двигаться...

И, наконец, решился.

В этот день ночевать в зону не пошел — остался в бане, благо разрешил начальник. Последние часы перед выходом хотелось побыть в тепле, еще раз обмозговать все, проверить...

Всего два года назад расстояние в десять километров было сущим пустяком, не стоило и разговора. Находясь в Дукчанском леспромхозе, регулярно, два раза на дню, в течение всей зимы совершал эту «прогулку»: утром — в тайгу на трелевку леса, вечером — домой, в лагерь. Но тогда я был здоров. Теперь голод и цинга, настигшие меня, сделали эти километры недосягаемыми.

Плохо было с одеждой, особенно тревожила обувь. Лапти или резиновые забойные калоши — другого выбора не было. О валенках и не мечтали; не у всех «вольняшек» они были. Идти в калошах — заведомое самоубийство: не убережешь ноги, поморозишь. В лаптях легче и теплее, лишь бы портянок побольше...

Лыковые «берендеевы» лапти!.. Вам памятник на

Колыме полагается! Скольким заключенным спасли вы ноги в горестные зимы военных лет!

Выйти задумал до рассвета. Банщика Липкарта решил не будить, не хотел лишний раз видеть его морду перед дорогой со скептической гримасой неверия в мои силы.

Мы не любили его. Не знаю, как и за что попал он в лагерь, но его одинаково ненавидели и зеки и вольные. Причиной тому были не столько его личные качества. Гремела Великая Отечественная: шел 1942 год... Немецкий фашизм еще продолжал свое победное шествие по Европе. Трагедия большинства из нас — безвинных «контриков», находилась в прямой зависимости от мировой политической ситуации, не говоря уже о делах «семейных», внутренних, в те годы само слово «немец» было ненавистно.

Известные советские поэты и писатели призывали: «Убей немца!» Со сцен театров, с экранов кино, из фронтовых и тыловых репродукторов звучал гневный набатный клич, усиленный за душу хватающей музыкой: «...сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» Мы же не только каждый день видели нашего немца, но и на собственной шкуре испытали прелесть его натуры: расчетливую, бездушную требовательность к подчиненным, дисциплинированиость перед силой власти!.. Любой власти! Для нас он был не просто немец, но и немец-начальник, немец-погоняла.

Ушел из бани незаметно, тихо.

Когда мехцех — последнее приисковое строение осталось за спиной, я послал прощальный взгляд лагерю и медленно побрел по лунной дорожке, напоминавшей серебряную ленту фольги, размотанную по голубому безбрежью снега, навстречу восходу солнца, в сторону заповедного «17-го»...

Вскоре начали слипаться, намерзать ресницы. Сплюнул. Слюна на лету превратилась в ледышку — первый признак, что мороз за сорок... Не заметил, как прихватило лоб, щеки.

Все годы пребывания на Колыме больше всего боялся обморозить лицо. Поэтому часто щупал его на морозе, проверял чувствительность, берег... Актер без лица — не актер! И в прямом, и в переносном смысле. Свято помнил это, верил: если суждено остаться в живых, мое лицо мне понадобится. Вот и сейчас, как только по-

чувствовал, что деревенеют щеки, вытянул из-под воротника бушлата обрывок байкового одеяла, замеиявшего шарф, обмотал им лицо, оставив наруже только глаза. Пока растирал щеки, пока заматывался и прятал руки в варежки, онемели пальцы...

Мелькнула мысль: «Зря вышел в такой мороз — не дойду!»... В памяти возникли герои книг Джека Лондона: мужественные, сильные, выносливые мужчины, неизменно выходившие победителями из любых, самых жестоких схваток с Севером, если только в их души в критический момент не заползало сомнение. В таких случаях сомнеиие будило воображение, воображение рождало страх — в результате страх разъедал, парализовывал волю человека.

Надо было идти быстрее, чтобы согреться, но не слушались, не шли распухшие, ватные ноги... Несколько раз оступался, падал... поднимался... Продолжал идти через силу, в надежде, что вот-вот появится «второе» дыхание, станет легче. Одышка заставила смириться — явно не срабатывало, не справлялось перетруженное сердце. Когда в очередной раз споткнулся и упал, окончательно понял: придется отдыхать — идти дальше нет сил.

Так и остался сидеть на дороге.

Нежный, хрустальный звон стоял в ушах — утренняя поземка играла стеклянными иглами изморози, катая их по ледяному насту. Казалось, звучит светлая, как детский хор, весенняя музыка.

Когда немного восстановилось дыхание и унялось сердце, собрался с мыслями, пытаясь определить, где нахожусь и долго ли шел. Прислушался, в надежде поймать знакомое бормотание поселковой «Червонки». Обычно ее хорошо было слышно за несколько километров. Сейчас, кроме звенящей тишины в ушах и собственного свистящего дыхания, ничего не услышал — «Червонка» молчала. Значит, время уже перевалило за семь часов утра.

Светало... По знакомым очертаниям ближних сопок выходило, что отошел от поселка всего-навсего километр-полтора, не больше. Через силу поднялся. Поплелся, дальше. Ветер дул навстречу. Одолевал холод. Не было ни одной клеточки тела, которая не страдала бы... Малейшее движение вызывало озноб, приносило мучение. Хотелось съежиться, оцепенеть, забыться... Но всякий раз кто-то невидимый во мне наперекор моей слабости упрямо

твердил: вставай, иди, двигайся, двигайся... В этом твое спасение.

По опыту предыдущих зим знал: нет злейшего врага для человека, идущего или работающего на большом морозе, чем жаркий костер и частый «перекур»,— только работа и движение, движение... Без конца движение, иначе конец!

Итак, все мои заочные банные расчеты за теплым бойлером полетели к чертям, если за два с лишним часа пути мне удалось одолеть всего километр с небольшим. Сколько же потребуется времени на весь путь?.. Ответ не оставлял никаких надежд. Получалось, что идти придется сутки — не меньше. Ни физических сил, ни иной энергии преодолеть это расстояние во мне не было.

Что же делать? Идти или возвращаться? Похоже, что любое мое решение уже ничего не меняло. Пойду ли я вперед или возвращусь, безразлично — конец один. Еще час-другой, и я или замерзну на тропннке, нли окажусь в той точке, откуда возвращение назад окажется одинаково невозможным, как и путь вперед. С каждым моим шагом вперед уменьшалась вероятность возвращения.

Да н куда возвращаться? В лагерь? Зачем? Чтобы медленно умереть там? Ведь предчувствие блнзкого конца и погнало меня, больного, из лагеря в дорогу...

Мозг мой мучительно переваривал весь этот хаос лихорадочных мыслей и наконец выброснл единственный безжалостный в создавшейся снтуации ответ: «Возвращайся».

Какое-то время я еще продолжал автоматически передвигать ноги, двигаясь как автомобнль с выключенной скоростью, потом остановнлся, медленно повернулся спиной к леденящему ветру и поплелся, спотыкаясь, обратно.

Ни отчаяния, ни жалости к себе я не чувствовал. Скорее наоборот: сознание принятого решения и ветер, от которого наконец нашел спасение, подставив ему спину, принесли облегчение.

Отчаяние настигло поздно ночью, когда я, насквозь промерзший и обессиленный, перевалил через порог остывшей баии, ткнулся на свое обычное место между теплым бойлером и стеной и завыл, как собака, почуявшая покойника.

* * *

Прошло три дня. И вот снова начальник лагеря вызвал банщика и приказал топить баню.

Целый день несколько слабосильных зеков скребли, чистили, мыли полы и лавки в парной, грели воду и топили бойлер. Две сорокаведерные деревянные бочки, заменявшие ванны, были наполнены горячей водой. Втайне от банщика мы исполнили традиционный «ритуал»— помочились в обе бочки, выражая тем самым нашу пламенную любовь к начальству, умудрившемуся за несколько зимних месяцев отправить на тот свет половину вверенных им заключенных.

К вечеру в бане было тепло и чисто.

Начальник лагеря привел с собой оперуполномоченного прииска. Это был высокий худощавый офицер (лейтенант МГБ) с внимательным взглядом темных недоброжелательных глаз. На приисках Оротукана этого человека звали «Ворон».

Чем-то он действительно напоминал эту зловещую птицу: блестящая шевелюра иссиня-черных прямых волос, явное пристрастие к черному цвету в одежде лишний раз подчеркивали сходство с элегантной, красивой божьей тварью... Правда, кличка «Ворон» прилипла к нему не столько за внешнее сходство, сколько за ту недобрую молву, мрачным шлейфом ходившую за ним по жизни, где бы они оба ни появлялись — ворон и человек. А появлялся он всегда, когда случалось что-нибудь чрезвычайное. Появлялся налетом, неожиданно. Его не любили и боялись.

И исчезал он так же внезапно, как и появлялся. Случалось, вместе с его исчезновением и в лагере становилось на несколько человек меньше...

Родные этнх несчастных потом долго и безуспешно разыскивали пропавших. В те годы горемык было столько, что Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей (УСВИТЛ) не успевало отвечать на настойчивые запросы родственников. Окончательно запутавшись в местонахождении своих «подопечных», начальство управления лагерей или молчало, или отвечало стереотипной фразой: «В списках живых не значится», что не всегда соответствовало истине.

Выполнение плана было главным мерилом в оценке действий начальства. Борьба за план любыми средствами!

Не считаясь ни с какими человеческими жертвами — людей хватит! Не хватит — привезут!.. Особенно «врагов народа»... Колыма этим «товаром» снабжалась последние годы регулярно и без ограничений — к этому привыкли все.

Еще только брезжили новые времена перемен, когда станет ясно, что с оптовым расходом людей переусердствовано; и тогда с начальства за допущенный произвол, приводящий к массовым обморожениям, увечьям, к бессмысленной гибели людей в лагерях, будут срывать погоны и привлекать к уголовной ответственности.

Эти времена только грядут, а пока по-прежнему из бухты Находка с началом очередной навигации отваливали корабли с набитыми в трюмы зеками и, подобно косякам нерестящейся горбуши, шли курсом на север — в места обжитых «нерестилищ»: в бухты Нагаево, Певек, Пестрая Дрясва на Чукотке и прочие, где и «выметывали» в лагеря десятки тысяч свежих жертв ненасытному Молоху...

Жестоко, когда политические заключенные содержатся в лагерях вместе с уголовными преступниками, и по-настоящему трагично, когда этими политическими преступниками оказывались в подавляющем большинстве нормальные, честные люди. Никакие не преступники, а жертвы! Жертвы пресловутого «культа личности» (так «интеллигентно» преподнесено истории время чудовищной тирании и издевательства над миллионами людей).

Жизнь политических заключенных в таких совместных лагерях ох как нелегка!..

Помимо прямого произвола лагерного начальства, весь ужас жизни в совместных лагерях усугублялся еще и тем, что все сколько-нибудь ответственные командные места и должности занимали, как правило, уголовные преступники: авантюристы, аферисты, растратчики, взяточники, грабители, воры, нравственные подонки и прочая нечисть... Это они считались «друзьями народа», заслуживающими чуткого, бережного к себе внимания как люди, по ошибке и недоразумению споткнувшиеся об Уголовный кодекс!..

Тогда как ни в чем не повинные перед законом несчастные люди, в основной своей массе не пропущенные даже через «шемякины суды» того времени, а репресси-

рованные заочно Особым совещанием НКВД СССР (органом, никогда не существовавшим в Советской Конституции), назывались «врагами народа»!.. На их долю в лагерях приходился тяжелый физический труд (ТФТ) и общие, подконвойные работы.

Жизнь такого лагеря была цепью непрерывных чрезвычайных событий: травмы, обморожения, увечья, отказы от работ, саморубство, сопротивления приказам, побеги и попытки к ним, бандитизм, убийства, самоубийства, воровство, грабежи и т. д. и т. п.

Все это, как и многое другое, являлось сферой деятельности оперуполномоченного.

В его обязанности входило про всех все знать! Искать криминал. Находить виновных. Наказывать, искоренять, карать... В те недоброй памяти колымские годы глаголы эти были в большой моде.

Оперуполномоченный имел среди заключенных своих информаторов и «сексотов». Они снабжали его сведениями о своих же товарищах. Информация угодная, данная не по долгу совести, а из страха. Кто станет сотрудничать с оперуполномоченным по доброй воле?.. Только слабые или подлые люди, заклейменные презрительной кличкой «стукач».

Лагерь не место соблюдения законности и порядка. Установлением истины заниматься там некому. Страдали и правые, и виноватые. Кто меньше, кто больше, кому как повезет и как взглянется уполномоченному. Одни отделывались карцером, на других заводили уголовные дела. Нередко — по статье за контрреволюционный саботаж. (Статья, применяемая за проступки, повлекшие за собой потерю трудоспособности, пусть даже временную.) Подсудным всегда оказывался пострадавший.

Суровое наказание следовало за обнаруженное в зоне лагеря печатное слово — книгу или (не дай бог!) газету. В этих случаях «виновный», особенно если он сидел по политической статье, исчезал с концами.

С весны 1943 года на «пятачке» каждого колымского лагеря, где проходили утренние разводы и вечерние поверки, в обязательном порядке начальству вменялось в обязанность вывешивать на специальных стендах для прочтения заключенными все центральные газеты страны!

Менялось время! Менялась цена человеческой жизни. Эхо победной битвы за Москву и под Сталинградом докатилось наконец и до Колымы.

* * *

Начальство явилось навеселе. Оба оживленные и разговорчивые. Вокруг них вовсю «шестерил» Липкарт. Услужливо помогал раздеваться, расстилал под ноги простыни, суетился... Увидев меня у бойлера, начальник изобразил на лице радость:

— С возвращением, артист!.. Как жизнь молодая?— Слово «артист» ему явно нравилось. В его представлении я был чем-то вроде клоуна.— Подвел ты меня, артист, ох как подвел!.. Я, можно сказать, поставил на тебя... побился об заклад с лейтенантом, а ты взял и обманул меня... Нехорошо!.. Я говорю ему,— он показал рукой на уполномоченного.— Пойми, говорю, у него нет другого выхода, он должен дойти!.. Иначе подохнет здесь — он это понимает!.. Это я про тебя... а он мне свое: «Один не дойдет — замерзнет!» Плохо, говорю, ты знаешь артистов!.. Они народ особенный, двужильный!.. Так что случилось?.. Почему вернулся?

Я молчал. Уполномоченный с иронической улыбкой внимательно смотрел на меня. «Оставили бы вы меня в покое,— думал я.— Ну чего привязались?»

— В чем дело, артист?— Начальник повысил голос.— Ты меня слышишь?

Я утвердительно кивнул головой.

— Отвечай как полагается, когда тебя гражданин начальник спрашивает!— накинулся на меня Липкарт.— Почему вернулся с полдороги?

«И этот все еще не может смириться с потерей обещанной ему доли в посылках»,— подумал я...

— Почему?— не отставал начальник.— Силенок, что ли, не хватило, да?.. Испугался замерзнуть?

Не глядя на него, я молча кивнул.

— Забрали бы вы его от меня, гражданин начальник; видите, он уже фитилит! — услышал я голос Липкарта.

И как я ни крепился, слезы все больше и больше застилали глаза. Я низко опустил голову, пытаясь сдержать их, не смог и впервые после возвращения беззвучно заплакал.

— Ну все — местный!— махнул на меня рукой начальник, давая понять, что сеанс общения закончен, отвернулся и, стянув с себя нижнее белье, с веселыми

охами и ахами полез в бочку с горячей водой. Его примеру последовал и уполномоченный.

...Они веселились, поочередно бегали в парную, с хохотом обливали друг друга ледяной водой, «травили» анекдоты, с наслаждением пофыркивая в своих бочках, обсуждали предстоящие дела...

...Я тихо скулил в своем углу, обняв теплый бойлер, следить за которым, судя по всему, была моя последняя обязанность на этом свете.

Из обрывков их разговоров, долетавших до меня, я понял, что утром уполномоченный отбывает в Оротукан, в управление.

Я и теперь не могу объяснить свое поведение в тот момент: фантастическая мысль зародилась у меня в мозгу: «А что, если попроситься вместе с ним? Ведь путь его обязательно будет проходить через «17-й», другой дороги не существует?!»

Я понимал всю безнадежность моей мысли, понимал, что своей фантастической просьбой вызову лишь презрительную усмешку, и все же с непонятной самому себе решимостью, решимостью отчаяния, что ли, выбрал момент, когда они, надев полушубки, докуривали послебанные цигарки, подошел к уполномоченному и, глядя ему прямо в глаза, тихо сказал:

— Гражданин начальник! Возьмите меня с собой до «17-го».

* * *

Он появился, как и обещал вчера, перед самым рассветом с последними тактами «Червонки», когда над вахтой лагеря медленно угас электрический фонарь.

Легко подпрыгивая на неровностях тропинки, за ним бежали детские саночки, то обгоняя хозяина, то, наоборот, застревая в наметенном снегу... Он легко дергал за веревку, привязанную к санкам, и те опять весело устремлялись под горку... На санках лежал маленький чемодан — обычный дерматиновый чемоданчик; в городах с такими ходят в баню илн носят завтрак на службу.

«Зачем ему санки?— подумал я.— Такой чемоданчик проще нести в руках...»

Был он в форме.

Поскрипывали по утреннему морозу фетровые, с отво-

ротами, светлые бурки... Распахнутый, подогнанный по фигуре черный полушубок ладно сидел на нем,— видно, лагерный портной очень старался угодить. Оперуполномоченный был крут. Вызвать его неудовольствие или гнев считалось рискованным — за это можно было поплатиться добавкой к сроку, а то и жизнью.

Я думал: «В каких закоулках человеческой души или сознания добро научилось уживаться со злом, милосердие с жестокостью? Все слилось воедино, все перемешалось... Иначе какими доводами разума можно объяснить, сопоставить вчерашний поступок уполномоченного с его же поступком полгода назад?..»

...Тогда, во время вечерней поверки, из строя заключенных неожиданно вышел высокий человек и, глядя в упор на уполномоченного, заявил протест против бесчеловечного обращения с людьми, против издевательства, жестокости и произвола, творимого лагерным начальством...

Такое, конечно, не прощалось. Ночь он просидел в карцере. А утром уполномоченный, сидя верхом на лошади и исступленно размахивая нагайкой, на глазах у всего лагеря угонял непокорного в следственный изолятор «17-го»...

С советским разведчиком Сережей Чаплиным мы были сокамерниками в ленинградских «Крестах», товарищами по этапу на Колыму, напарниками на таежных делянках Дукчанского леспромхоза, где два года кряду выводили двуручной пилой один и тот же мотив: «тебе — себе — начальнику...»

Когда началась война и нас этапировали в тайгу на прииски, мы поклялись друг другу: ...тот из нас, кто уцелеет во всем этом бардаке и кто вернется домой, должен разыскать родственников другого и рассказать им все, что знает.

Суждено было остаться в живых мне одному — Сережа погиб. Я выполнил данное ему слово. Разыскал его родственников. Беседовал с его дочерью. Родители назвали ее Сталúна (какая жуткая ирония судьбы!!!).

Ушел из жизни редкого мужества гордый человек, достойный за свое благородство и смелость самых высоких наград и почестей! Его «отблагодарили» по-своему и сполна!!

Преступно осудили по статье 58. 1 а за измену Родине. Позорно предали, предали в своих же органах

НКВД, офицером которых он был и которым служил, как настоящий коммунист, беззаветно и рыцарски честно всю свою недолгую жизнь!

Время, великое мудрое время в конце концов расставило все и всех по своим местам!.. Время восстановило светлую память о нем. После смерти Сталина его реабилитировали полностью. О Сергее Чаплине написана книга. Честная книга. Увы — посмертно!

Сегодня мне предстояло повторить последний путь моего друга. Повторить в той же компании, только на этот раз человек, спускавшийся сейчас по тропинке со своими саночками, был пеший... и без нагайки.

«Только бы не передумал»,— шептал я про себя, как заклинание, глядя на подходившего ко мне уполномоченного...

Он остановился, без обычной своей иронической улыбки хмуро оглядел меня, как бы прикидывая, на что я гожусь, раздраженно пнул ногой саночки и полез в карман за махоркой... Саночки покатились было, но, ткнувшись в стену бани, встали... Щелкнула зажигалка, он закурил...

Предчувствие не обмануло меня — он колебался. «Только бы не передумал,— причитал я, стараясь унять нервную дрожь и боясь взглянуть на него,— сейчас все должно решиться... только бы не передумал».

Словно угадав мои мысли, уполномоченный прервал молчание:

— Значит, так!..— Он сделал несколько затяжек и протянул окурок мне.— Кури и слушай!.. Я болван, что связался с тобой, полный болван!.. На хрена ты мне сдался вместе со своими посылками!.. В гробу я их видел. Ты думаешь, я не понимаю, на что подписываюсь?.. Думаешь, не вижу, какой из тебя ходок сейчас?.. Все вижу и все понимаю, но только... только не люблю менять своих решений, не люблю!.. Такой уж я человек!

Он помолчал, собираясь с мыслями, и продолжал:

— Слушай меня внимательно: пойдешь следом за мной. Идти буду не торопясь, нормально... Но предупреждаю — не отставать! Отстанешь — пеняй на себя, уйду! Ждать не буду. Цацкаться мне некогда!.. Пойдешь один или останешься подыхать на дороге... Отдыхать сядешь тогда, когда я скомандую, не раньше. Никакой самодеятельности — иначе уйду! Подходят мои условия? Сдюжишь?!

От нескольких затяжек махоркой у меня все поплыло перед глазами, словно уполномоченный разговаривал со мной, сидя на вертящейся карусели... Уже много месяцев в лагере не было ни крошки табака... Боясь упасть, я прислонился спиной к углу бани и, кое-как справившись с головокружением, ответил:

— Постараюсь.

— Тогда все,— подытожил он.— Тронулись!

И мы пошли.

Он как лидер впереди с саночками, я за ним...

Три дня назад природа сопротивлялась моему бессмысленному походу в одиночку: она обрушила на землю пятидесятиградусный мороз с поземкой и леденящим ветром и заставила в конце концов внять себе и вернуться... Сегодня улыбалась и подбадривала... Одарила ясным, безветренным утром, подрумянив его слегка бодрящим морозцем!.. Тропинку под ногами застелила мягким ковром ночной пороши — так хорошо, хоть песни пой!.. В голове, как птица, залетевшая в комнату, забилась не к месту привязавшаяся фраза: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!..», сочиненная дуэтом талантливых остроумцев.

Расстояние между лидером и мной стало увеличиваться. Несколько раз обернувшись, уполномоченный сбавил темп, пошел медленнее...

«...Лед тронулся, господа присяжные заседатели!..»

Впервые за последние три дня вдруг, чуть ли не до рвоты, захотел есть! Опять стали мерещиться посылки... И чего только в них не было! В который раз смакуя, я перебирал их содержимое... Все, что я любил когда-то на «воле», укладывал в них, сортируя и отбирая продукты с расчетом на предстоящее долгое путешествие. Любимая рыба горячего копчения, севрюга, осталась дома — в посылку упаковали воблу (над ней время не властно)... насладившись запахом полубелого хлеба с тмином и изюмом, решительно заменил его сухарями... Мясо не взял — только твердокопченую «салями» (она прочнее) и сало... Украинское сало... с розовой прожилкой, тающее во рту... Как и полагается, все углы посылок забиты чесноком и луком... Сахар брал только колотый, от «сахарной головы»— он слаще. Не забыл, конечно, и табак! Папиросам предпочел сигареты и махорку,

объем тот же, а табаку больше... Мороженое... при чем тут... мороженое??

С ходу налетев на что-то непонятное, я ткнулся лицом в снег и... опомнился. Надо мной стоял уполномоченный и вытягивал из-под меня опрокинутые санки... посылки исчезли.

— Ты чего?— Он подозрительно смотрел на меня.— Что с тобой?

— Ничего, простите.— Выплевывая изо рта снег, я с трудом поднялся.

— Где то место, откуда ты вернулся, дошли мы до него?

Я обернулся в сторону лагеря: сопка, которую мы обогнули, заслонила собой «Верхний» и весь пройденный нами путь. Впереди тропинка виляла вдоль крутого берега ключа и примерно в километре по ходу терялась в кустах полегшего в снег стланика.

— Мы прошли то место,— сказал я.

— Да? Уже хорошо. Двинулись дальше... Дотянем до тех кустов,— он показал рукой в сторону стланика,— перекур!— И, потянув за собой санки, не оглядываясь, легко зашагал вперед, на ходу крикнув:— Не отставать!

Я медленно поплелся за ним.

«Не отставать!» Легко тебе говорить, ты здоров, как лось!.. А мои силы кончаются, вернее, не кончаются, а кончились... и кончились давно. Когда ты диктовал мне свои условия, уже тогда их не было... А если быть до конца честным, их не было и вчера в бане, когда я напросился к тебе в компанию... И ты догадывался об этом, ведь так?.. Поэтому и колебался... но все-таки решился и взял меня с собой... Почему?.. Ответь: почему? Не можешь ответить, а я знаю!.. Потому что вчера в тебе проклюнулся человек! Впервые, вдруг, неожиданно для тебя самого... И ты испугался, растерялся, не знал, как поступить с этим новым для тебя чувством: задушить ли его в зародыше, пока не поздно, или позволить терзать душу и дальше, не давая ей очерстветь окончательно... Вчера в тебе взял верх человек, победило милосердие!.. Не понимаешь, о чем я?.. О милосердии. Что это такое? Потребность души прийти на помощь любому, кто в ней нуждается. Почитай Федора Михайловича — поймешь! Кто такой?.. Где сидел? Сидел в Сибири, в «Мертвом доме». Тоже политический? Да. Писатель. Федор Михайлович Достоевский. Не знаешь

такого?.. Немудрено — он умер около ста лет назад — иначе не миновать бы ему знакомства с тобой... Ну, что ты замолчал? Не молчи — говори, спрашивай! О чем хочешь спрашивай, только не молчи, иначе я упаду... О господи, как я устал!..»

Я стал считать шаги — переводил их в метры... Еще десяток, и конец, и я подниму глаза от дороги... Одолев эти метры, я давал себе новый зарок... Я боялся поднять глаза и не увидеть его. Только надежда, что он ждет меня, а не ушел, как грозился, и удержала меня на ногах... Нельзя, чтобы человек остался один!.. Нельзя!..

Шатаясь из стороны в сторону, я добрался наконец до кустарника.

Совсем рядом, поперек тропинки, стояли саночки. На них сидел уполномоченный и, прищурясь, внимательно наблюдал за моими зигзагами на дороге. Из последних усилий я доковылял до него и рухнул в снег возле саночек, все.

...Очнулся на санках. Уполномоченного не было. На снегу лежал его полушубок, на нем — кисет с махоркой и спички... Свежие следы вели в сторону от тропинки, в кусты... (понятно). Осмотрелся — это место было хорошо знакомо.

Еле-еле поднялся... Двинулся дальше.

Сознание ясно, а ноги не слушаются... Не хотят, не могут больше идти мои когда-то сильные, легкие ноги. Не чувствую я их, не мои они сейчас — огромные, как под наркозом, стопудовые, чужие... Кончается, видно, моя власть над ними... А сознание приказывает — иди! Заставь ноги двигаться. Не жди его. Нельзя, чтобы он видел твою беспомощность. Пусть знает: ты борешься до конца! Ты — сильный! Такие, как он, уважают силу. Заставь его уважать тебя, и он не уйдет, не посмеет уйти один... Да, он жесток!.. Но не только... Он может быть и милосердным — сегодня ты уже дважды убедился в этом... «Что посеешь — то и пожнешь!» Добро и зло всегда рядом, всегда вместе... Познать человека до конца невозможно!..

Когда уполномоченный нагнал меня, я еще держался на ногах.

— Ты почему сбежал от меня?

Я тупо смотрел на него, пытаясь отдышаться. В голове звенело. Плясали разноцветные круги в глазах, не

хватало воздуха... Силясь ответить, я лишь бессвязно и неразборчиво промычал что-то.

— Ладно,— он подкатил ко мне саночки, легко ткнул в плечо, и я плюхнулся на них,— сиди, отдыхай.

Распутав веревку и сняв с санок чемоданчик, извлек из него еду: горбушку хлеба, кусок сала, пару луковиц... Выложив все это богатство на крышку чемодана и разделив по-братски, одну половину подвинул мне, за другую принялся сам, примостившись рядом на санках. В один миг, как «чайка соловецкая», я проглотил, почти не разжевывая, неожиданно свалившееся на меня счастье!.. И только после того, как доел последнюю крошку, в полную меру ощутил настоящий, лютый, дремавший во мне до поры голод. Будь силы, я, кажется, отнял бы у этого человека, разделившего со мной пищу, его долю. И ничего бы меня не остановило!.. Никакие угрызения совести,— настолько чувство звериного голода завладело мной. Я ненавидел его сейчас!

А он, не подозревая моих мук, аппетитно похрустывал луком, неторопливо и со смаком пережевывал пищу...

Наконец, покончив с едой и закурив, он протянул кисет мне. Оторвав листок бумаги на закрутку, я пытался насыпать в него табак и не мог — дрожали руки, не слушались, не сгибались пальцы... Кончилось тем, что уполномоченный забрал кисет, сунул мне свою горящую цигарку, а себе стал сворачивать новую...

Стоило только затянуться, как все повторилось: он снова оказался на «карусели»... Опять перед глазами все поплыло... Разом исчезли: усталость, болезни, невзгоды... Стало легко и приятно... хотелось, чтобы это забытье никогда не кончалось. Великая сила — табак! Великий наркотик!.. Но похмелье всегда неизбежно. И оно, как правило, горько.

— Что будем делать дальше?

— Не знаю... Что хотите. Не знаю. Спасибо вам за хлеб.

— Идти можешь?

— Не знаю.

— А кто знает, я, что ли?

— Кажется, не могу... Не знаю. Ноги не ходят.

— Ты брось свое «не знаю»!— Он начинал сердиться.— Я предупреждал — уйду!.. Некогда мне возиться с тобой, понял?

Затоптав в снег окурок, он решительно поднялся.

— Или оставайся один, или идем, я жду!.. Давай, давай, поднимайся!

Вставать с санок без его помощи оказалось не так-то просто. Пришлось сначала вывалиться в снег, перекантоваться на четвереньки и только потом, раскачиваясь, постепенно перемещая центр тяжести к ногам, удалось подняться.

Все это время уполномоченный с раздражением наблюдал за моим «цирковым номером»...

Что ж! Пусть — я не симулирую, не ловчу и не выпрашиваю помощь!

Где-то я понимал и его: не всякий здоровый человек, тем более — мужчина, может быть «сестрой милосердия», да еще по отношению к заключенному, «врагу народа»...

Уполномоченному надоело смотреть на мои упражнения, он воздрузил чемонадчик на санки, привязал его и, повернувшись ко мне, сказал:

— Все. Я ушел. Некогда мне с тобой!.. На «17-м» предупрежу охрану — скажу, где находишься. Мой совет: хочешь жить — не стой, двигайся!

И он ушел. Я смотрел ему вслед.

Дойдя до места, где тропинка делала поворот, Ворон обернулся и крикнул:

— До «17-го» осталось меньше пяти километров. Не стой, артист, двигайся!..

«Спасибо за совет — я непременно ему последую, как только ты скроешься за поворотом. Я не уверен, что этот трюк «двигайся» сразу у меня получится. Не хотелось бы репетировать его на публике... Мои ноги сейчас — не мои — чужие, все равно что протезы, а на протезах сразу не ходят, на них сначала учатся... Мне, к сожалению, времени на учебу не отпущено...»

Я сделал шаг, другой, третий... Снова резанула боль в паху. Почему-то в паху ноги болели особенно... Ничего, к боли можно привыкнуть, притерпеться — главное, не спешить, не торопиться и не упасть. Это главное — не упасть!..

Как он сказал?.. До «17-го» осталось меньше пяти километров!! Как будто я не знаю, сколько осталось!.. Этот «пятый километр» (где я сейчас припухаю) мне памятен. На том свете я не забуду его! Здесь в меня стреляли однажды... Надо же, мистика какая-то!.. Судьба опять привела на это роковое место — нарочно не придумаешь!.. Пятый километр...

Тогда, на «17-й», нас выгрузили из автомашин и передали местному конвою. Цепочкой по одному конвой повел пешим строем на «Верхний». На пятом километре тропинка увела этап в заросли стланика. Ветки были сплошь усеяны молодыми шишками — в то лето случился урожай кедровых орехов. Меня так и подмывало сорвать шишку, но я боялся конвоя, да и шишки висели далековато... Наконец, уже на выходе из зарослей, заметил роскошную шишку, висевшую рядом с тропинкой, не удержался от соблазна и вышел на несколько шагов из строя, чтобы сорвать ее... Раздался выстрел. Я быстро обернулся: шагах в пятнадцати позади комендант целился в меня с локтя из пистолета. Не дожидаясь, когда он снова выстрелит, я упал... Полтора Ивана (так звали коменданта за его огромный рост) подбежал и своим сапожищем перевернул меня на спину. Я растерянно глядел на него во все глаза... «...Твою мать, промазал!»— выругался он, поняв, что я живой. «Не тушуйся, комендант, в следующий раз попадешь»,— с дурацкой улыбкой посочувствовал я ему. Обычно в таких случаях комендант жестоко избивал жертву,— не одна загубленная жизнь значилась на его совести,— но на этот раз произошло что-то необъяснимое: он, как загипнотизированный, долго и странно смотрел мне в глаза, выражение лица его постепенно становилось все более и более нормальным, человечным. На глазах у всех Полтора Ивана из злодея превращался в доброго Дядю Степу... Он осторожно снял ногу с моей груди и, беззлобно пробурчав: «Становись в строй», растерянно и как-то виновато даже отошел.

С того дня комендант возлюбил меня прямо-таки, как Парфен Рогожин князя Мышкина. Я стал его «крестником». Едва завидя, издали кричал: «Крестник! Давай сюда, покурим!» Делился последней цигаркой, не позволял вохре обижать беспричинно, когда я заболел цингой, сочувствовал, утешал...

Кончил Полтора Ивана плачевно. В разладе с собой и начальством. На ноябрьские праздники загулял, да так, что не мог остановиться чуть ли не до Нового года; поскандалил со своим начальством, в пьяной драке изувечил двоих своих же вохровцев (рука у него была тяжелая) и угодил под трибунал — его под конвоем спровадили с «Верхнего». Размышляя о судьбе незадачливого коменданта, я одолел пятый километр и выбрался на-

конец из зарослей стланика на равнину. Дальше тропинка, почти не виляя, бежала с легким уклоном в долину, до самого «17-го».

Пройдя еще несколько десятков метров, я упал, все-таки упал... Итак, около шести километров позади. Впереди осталось четыре, чуть больше... Чуть больше, чуть меньше — уже не имеет значения — свой путь я прошел! Свое «горючее» сжег дотла — мои баки пусты, и резерв исчерпан,— дальше идти не на чем, ни сил, ни самолюбия — все израсходовано... Кто-то сказал: «Нет сил жить, и даже отчаяние мое бессильно!» Мое «отчаяние» помогло мне каким-то образом снова встать на четвереньки, изготовиться к очередному «старту»; я начал было уже раскачиваться, чтобы подняться, и в этот момент увидел подходившего ко мне уполномоченного. «Вот это да! Вернулся-таки!.. Выходит, не подвела меня интуиция, не обманула — есть бог на свете!»

Я не мог скрыть радость, охватившую меня, заулыбался, но встать на ноги, как ни старался, не смог — так и встретил своего спасителя на четвереньках.

С мрачным видом подойдя ко мне, он, ни слова не говоря, приподнял меня за шиворот из снега и усадил на санки. Чемоданчик переложил в ноги и крепко-накрепко прикрутил нас обоих веревкой.

Я не сопротивлялся. В моей душе сейчас победно пели ангелы, торжественно звучала суровая музыка Пятой симфонии Бетховена, исполняемая сводным оркестром всех лучших симфонических оркестров мира!

И тут уполномоченного прорвало:

— Чего улыбаешься, чего лыбишься, фитиль несчастный!.. Думаешь, жалко тебя стало? Нужен ты мне очень, артист... Посмотрел бы ты на себя, какой ты артист!.. Артисты в Москве, в Большом театре поют, а не на Колыме вкалывают... Спасибо скажи, что на меня, дурака, попал, а не на кого другого!.. Надо же! Расскажи кому — не поверят!.. Впрягся, как конь, в упряжку и тащу его, гада, контрика,— драгоценность какая, самородок!.. Брось улыбаться, говорю! Доулыбаешься, что брошу к чертовой матери или пристрелю, как собаку,— навязался на мою шею, интеллигент...

Все оставшиеся до «17-го» километры он материл меня последними словами (то проклиная, то угрожая). Не щадил и себя, клял за минутную слабость в бане, с которой, по его словам, все и началось...

Еще вчера он понял, что никаких физических сил пройти десять километров во мне нет, что моя просьба была чисто волевым всплеском, последней надеждой человека, стоящего на грани жизни и смерти... Он предвидел вариант, что,возможно, ему самому придется тащить меня живого или мертвого... и все-таки пошел и на это.

Вот, значит, зачем ему понадобились саночки, вот зачем он захватил их. Какие слова способны объяснить этот поступок? А Полтора Ивана с его проснувшимся неуклюжим милосердием?! Его дремучий бунт против всех и вся?! Кто может исследовать, найти объяснение причинам неожиданной трансформации в психике людей — в этой бесконечной войне Добра и Зла?

...Мы приближались к финишу. Санки бежали под уклон легко и весело, как бы в тайном союзе с моими желаниями. Иногда, правда, соскользнув с тропинки, они глубоко проваливались в снег,— уполномоченный тут же чертыхался и награждал меня очередной порцией мата.

Я неотрывно смотрел вперед — во мне пели ангелы! С каждой минутой все торжественнее и громче!..

Наконец я увидел долгожданный ориентир всякого колымского поселения — сторожевые охранные вышки и колючую проволоку...

Неподалеку от лагерной вахты уполномоченный остановил санки, распутал веревку, выматерился напоследок в мой адрес, закурил... Мы финишировали.

— Спасибо, гражданин начальник!— сказал я.

Игнорируя мою благодарность, он направился в помещение рядом с вахтой, на двери которого красовались три огромные, намалеванные суриком буквы — МХЧ (материально-хозяйственная часть); уже от двери, обернувшись, приказал:

— Жди меня здесь,— и скрылся.

Как собака неотрывно смотрит на дверь, в которую ушел ее хозяин, приказав ей: «Сидеть!», так и я сейчас, ничего вокруг себя не видя, смотрел на МХЧ с надеждой и страхом и ждал возвращения уполномоченного. Вскоре он вышел, держа в руках два фанерных ящика, обшитые серым полотняным материалом, изрядно заштемпелеванные, с остатками сургучных печатей по стенкам, мои посылки...

— Забирай свое наследство! — Он поставил посылки у моих ног.

Наконец-то! Остался позади десятикилометровый тоннель между жизнью и смертью... Ценою нечеловеческих усилий я одолел его!.. Вот они — два ящика — у моих ног — в них все!.. Мое спасение, моя жизнь! Они мои! И никто не в силах отнять их у меня!

В жизни каждого человека бывают поступки (главные поступки его жизни), которыми он гордится или, наоборот, которые презирает, старается скорее забыть... В моем положении поступил я тогда единственно правильно — я сказал:

— Гражданин начальник! Спасибо за все, но я вас прошу, сделайте еще одно доброе дело...

— Какое еще дело?— недовольно спросил он.

— Отдайте посылки охране и прикажите не выдавать их мне... хотя бы в течение трех суток... Пусть несколько дней дают мне понемногу, порциями, понимаете?..

Уполномоченный серьезно посмотрел мне в глаза и впервые, кажется, по-человечески искренне сказал:

— Вот за это — молодец!.. Смотри-ка, сколько в тебе силы, оказывается!.. Сколько характера сохранилось... молодец! Теперь верю — жить будешь!.. Я догадывался, что ты мужик крепкий, жаль, что контрик.

— Никакой я не контрик!

— Ладно — не агитируй! Пошли.

Он подхватил обе посылки и быстро зашагал к вахте. Когда меня позвали зайти в помещение, на столе лежали обе мои посылки. В комнате находились два дежурных вохровца. Распоряжался уполномоченный.

— Вскрывай!— приказал он одному из вохровцев и, показав рукой на меня, представил:— Этот фитиль с «Верхнего». Пришел за своими посылками. Три дня не давать ему их! Как бы ни просил — не отдавать! Кормите понемногу, раза три в сутки, чтобы не случилось с голодухи заворота кишок, понятно? Учтите: он сам об этом попросил — боится за себя. Посмотрим, что там сохранилось? Сколько времени шли посылки?

Охранник повертел ящики, но никакой даты не нашел.

— Ладно, поймем и так,— сказал уполномоченный.— Режь!

Вся сцена напоминала операционную, с главным «хирургом»— уполномоченным во главе.

Охранник вспорол обшивку, подковырнул несколько раз верхнюю крышку и вскрыл посылку.

Вытащить из нее ничего не удалось, кроме чудом сохранившейся описи, прилипшей к фанерной крышке. В ней перечислялось содержимое и количество каждого продукта.

Все, что было в посылке, а именно: сахар, колбаса, сало, конфеты, лук, чеснок, печенье, сухари, шоколад, папиросы «Беломор», вместе с оберточной и газетной бумагой, в которую был завернут каждый продукт, за время трехлетнего блуждания в поисках адресата перемешалось, как в стиральной машине, превратилось в единую твердую массу со сладковатым запахом гнили, плесени, запахом табака и конфетной парфюмерии... Все пропиталось жиром и табаком, засахарилось...

Такая же картина повторилась и в другой посылке, с той только разницей, что там к содержимому добавились пара шерстяных носков и варежки.

— Нда!..— удивился уполномоченный.— Это называется поел, покурил и газетку почитал!.. И все зараз, в один присест. Что будем делать? Выбрасывать или?.. Распоряжайся, ты хозяин!

Охранники с брезгливым любопытством наблюдали за мной. Я подошел к столу, откромсал ножом кусок и тут же при всех, почти не разжевывая, торопливо проглотил, не разбирая ни вкуса, ни запаха, словно боясь, что кто-то может помешать или отнять у меня «это»...

Состояние потревоженного голода, проснувшегося в человеке при виде пищи, сравнимо разве что с состоянием алкоголика или наркомана.

Страдал и я. Муки голода, на которые я добровольно обрек себя, отдав на трое суток посылки, были мучительны. Я готов был сейчас наброситься на посылки, и есть их, есть, есть без конца. Истощенный организм не считался ни с чем, ни с какими доводами и предостережениями разума.

И все-таки, к разочарованию сытых, жаждавших представления охранников, я нашел в себе силы удержаться от соблазна и, ни на кого из них не глядя, вышел за дверь вахты. Инстинкт самосохранения и на этот раз взял верх!

В памяти еще жив был трагичный случай с одним бедолагой... В разгар промывочного сезона на прииск «Пионер» пожаловал целый оркестр заключенных-музыкантов, человек двадцать (поощрительная мера культурно-воспитательного отдела МАГЛАГа прииску, выполняю-

щему план). Начальство лагеря распорядилось покормить музыкантов с дороги. В барак, где они расположились, повар принес противень селедок — по штуке на каждого. Музыканты в лагере — каста привилегированная, сытая — селедками их не ублажишь, никто есть не стал. Весь противень отправили обратно на кухню с каким-то подвернувшимся доходягой. Тому, конечно, и не снилась такая удача!.. Человек он был приморённый, голодный,— характера удержаться от соблазна не хватило, и он съел, вернее, проглотил все двадцать селедок в течение нескольких минут. Заворот кишок не заставил себя ждать. Жутко было видеть, как изо рта этого бедняги перед смертью, когда начались спазмы, выскакивали одна за другой селедки... Невероятно, как он ухитрился глотать их целыми?!

Наконец из дверей вахты снова появился уполномоченный вместе со старостой лагеря.

— Сколько сейчас времени?— спросил я.

Он пристально посмотрел мне в глаза и сказал:

— Сейчас только три часа — не беспокойся, тебя покормят сегодня еще раз, вечером,— терпи.

Замолчал, задумался, с иронической усмешкой оглядел меня еще раз и изрек:

— Значит, так!.. Останешься здесь на трое суток, пока не придешь в себя и не оклемаешься. Староста укажет место в бараке и выдаст пайку. Санки заберешь — это мой подарок тебе за характер! Пригодятся, когда будешь возвращаться на «Верхний»... Все! Я уехал. Прощай, артист!.. Может, когда и встретимся в жизни. Чем черт не шутит!

Ворон сдал меня подошедшему старосте и ушел... исчез, загадав мне на всю жизнь загадку: «Что же такое есть человек?!»

Так мучительно долго еще никогда не тянулось время, как в эти последние трое суток. Ни лежать, ни спать я не мог,— животный инстинкт гнал из барака к вахте, поближе к посылкам. Я окончательно потерял контроль над собой: не доверял охранникам, боялся, что они или выбросят посылки, или скормят собакам. Как волк из засады, следил за каждым, кто заходил на вахту... Когда подходило время получать очередную порцию, я умолял отдать мне все — уверял, что я уже в порядке, клянчил, плакал, угрожал, оскорблял, кричал «фашисты!», грозился выбить стекла в окнах, бил

кулаками в дверь, в стены вахты, скулил от бессилия.

Спасибо охранникам!.. Они не поддались на мои «провокации» и в точности выполнили приказ уполномоченного. На мое счастье, у них хватило и нервов, и добродушия... Когда же им становилось особенно невтерпеж, они просто брали меня за шиворот и оттаскивали, как щенка, в снег, подальше от вахты...

Наконец наступил долгожданный день — трехсуточный «карантин» кончился!..

К недоуменню вахтеров, за посылками я не явился!! Уже закончился утренний развод в лагере,— бригады вышли на работу, а меня все нет и нет... Послали старосту узнать, в чем дело, куда я мог подеваться. Никуда я и не «подевался»— староста обнаружил меня в баке, на своем месте — я спал!.. В самый критический, кризисный момент физической и нервной истощенности мое подсознание (самый безошибочный диагностик) пришло мне на помощь, сделав выбор между сном и пищей. Я спал глубоким, живительным сном праведника! Так спят тяжелобольные, переборовшие болезнь. Так, наверное,спали вывезенные нз блокадного Ленинграда спасенные дети — наступил кризис. Когда староста разбудил меня, впервые за эти горестные месяцы я почувствовал в себе слабый огонек надежды, впервые поверил, что буду жить!

...Когда «17-й» окончательно скрылся из глаз и перестали быть слышны: скрежет транспортерной ленты, человеческие голоса и пыхтение паровых экскаваторов, когда в безбрежии сияющего на все четыре стороны, слепящего снега воцарилась тишина, я остановился отдохнуть, мне захотелось есть...

Весеннее солнышко уже давало о себе знать — было тепло, и клонило в сон... Но теперь я уже вполне владел собой. Я сидел на санках и ел — обстоятельно и неторопливо... Интересно, что содержалось в той «массе», которую я сейчас с таким наслаждением разжевывал? Я развернул опись и перечитал ее вслух. В конце описи большие, неровные буквы, тщательно выведенные непослушной рукой Матери, промаслились, чернильный карандаш расплылся, потек, но разобрать написанное было можно... Опись заканчивалась словами:

«На здоровье, сынок! Береги себя».

От «Глухаря» до «Жар-птицы»

Повесть

1

В мае 1975 года делегация киинематографистов, направлявшаяся на неделю советских фильмов в Аргентину, застряла в Париже в ожидании виз. Делегацию представляли два актера: артистка кино — Жанна Болотова, красивая, со сдержанным характером и манерами, изящная молодая женщина, и я — артист театра имени Моссовета.

Политическая ситуация в Аргентине, от которой зависел наш приезд, была сложной, и Госкино посчитало, что получить визы через наше посольство в Париже будет проще и скорее, чем из Москвы.

Мы не протестовали. За всю свою жизнь я не встретил человека, который не был бы рад провести несколько лишних дней в Париже.

Париж покоряет с первого дня встречи! Буквально через час пребывания в нем чувствуешь себя легко и просто, как со старым приветливым другом. Обаяние этого чудесного города в его мягкой жизнерадостности и легкости — поразительной легкости во всем!..

И прежде всего в архитектуре его бесчисленных дворцов и площадей, мансардных крыш, в его бульварах... В приветливой жизни улиц, в остроумиых, общительных людях, в климате, иакоиец!

Принято думать, что город, в котором ты мечтал побывать, но никогда не был, при свидании всегда почему-то разочаровывает... В таких случаях говорят: «Ожидал большего». Кажется, все, что ты читал, зиал и видел о ием заочно, ярче самой встречи! Такова, наверно, сила первого впечатлеиия... Тем более если это впечатление навязано талантом больших художников, писателей, режиссеров...

Париж в этом смысле исключение!.. Все ранее слышанное, читанное, виденное — не заменяет встречу, а всего

лишь подготавливает человека к предстоящей радости свидания.

Главная достопримечательность Парижа не Эйфелева башня, а атмосфера, люди, жизнелюбие, воздух!.. А уж потом и Эйфелева башня, и Лувр, и кабачки Латинского квартала, и Монмартр, и многое-многое другое, чем издавна и по сей день восторгаются лучшие художники мира.

Кинематограф некоторым своим работникам (счастливчикам!), угадавшим пять-шесть номеров своеобразного «кинематографического спортлото», время от времени дает возможность видеть мир.

Мне доводилось бывать в Париже и раньше. К сожалению кратко, большей частью как транзитному пассажиру.

В этих случаях всегда старался, чтобы билет был с пересадкой. И чтобы эта пересадка, «стыковка» самолетов, приходилась на Париж и была по времени возможно дольше.

На трое суток всегда можно быстро и беспрепятственно, не выходя из любого аэропорта, получить полицейскую визу, разрешающую иностранцу пребывание в Париже. Право транзитного пассажира! Оно обеспечивало пассажиру гостиницу, питание и транспорт за счет той авиакомпании,благодаря которой пассажир летел дальше и дольше! Так называемый «закон длинного плеча»...

В Париже вовсю цвели каштаны. Пригревало майское солнышко, на улицах продавали первую клубнику...

Целыми днями мы бродили по городу, с удовольствием дыша парижским смогом... С толпами туристов побывали в Лувре, в Версале, ездили в Шантийи, во дворец принца Кондэ... Словом, прекрасно проводили время в ожидании виз.

В визах нам в конце концов было отказано,— видно, в Аргентине не то правительство пришло к власти, на какое мы рассчитывали. Неделя советских фильмов была отменена, и мы с Жанной собирались улететь домой, в Москву.

До вылета самолета в нашем распоряжении оставались еще целые сутки.

По просьбе нашего посольства и общества «Франция — СССР» мы дали согласие побывать на вечере советского фильма в клубе «Жар-птица».

В этот воскресный вечер там должен был демонстри-

роваться фильм «Молчание доктора Ивенса», с участием Жанны Болотовой.

«Жар-птица»— приватный клуб, расположенный в тихом районе Парижа, охотно посещаемый разношерстной публикой в воскресные дни. И прежде всего русскими, занесенными ураганными ветрами двадцатого столетия: двумя мировыми войнами, Октябрьской революцией, гражданской войной в России...

Приехали мы рано. Нас встретил один из владельцев «Жар-птицы»— улыбчивый человек лет пятидесяти, прекрасно говоривший по-русски. По характерному акценту можно было безошибочно признать в нем грузина (интересно, как выглядел его акцент, когда он разговаривал по-французски?). Извинившись перед нами на тот случай, если публики на вечере будет немного («в воскресные дни парижане обычно бывают за городом»), месье грузин пригласил нас ознакомиться с клубом, пока зрители собираются и рассаживаются.

Вопреки его прогнозам, народу набралось достаточно. Когда мы вошли в зал, он был почти полон. Нас провели на сцену, представили публике и попросили каждого сказать зрителям несколько слов. Не без задней мысли я предложил Жанне высказаться первой. Она предваряла своим словом фильм — ей было ясно, о чем следует говорить,— конечно, о фильме, о своем участии в нем, словом, ситуация для нее была привычной.

А вот я решительно не представлял, о чем мне следовало разговаривать с парижской публикой, и очень надеялся, как в таких случаях и бывает, за те минуты, пока выступает партнер, успеть не только осмотреться, присмотреться и придумать тему своего выступления, но и успеть поймать ту непременную «изюминку», без которой даже самый красноречивый человек выглядит всегда пресным и косноязычным.

Погруженный в свои мысли, я в то же время присматривался к затихшему залу, стараясь понять публику.

А публика «Жар-птицы» была весьма пестренькая и разноязыкая! И по возрасту и по национальности.

Кроме молодежи — студентов кафедры славянских языков Венсенского университета, обращали на себя внимание аристократические старики и старушки с ностальгическими выражениями лиц, завороженно слушавшие красивую русскую артистку из Москвы... Последние могикане далекой «белой» эмиграции, дожившие до наших

дней!.. (Их дети и дети их детей уже родились во Франции и знали о России только понаслышке).

Мне приятно было узнать, что в годы войны многие из них были на стороне боровшихся с фашизмом, участвовали во французском движении Сопротивления, некоторые воевали в «маки»...

Были в зале и «осколки» второй мировой войны, выплеснутые из России вместе с немцами...

Были невозвращенцы и диссиденты...

И конечно же эмигранты наших дней, вырвавшиеся из Советского Союза по зову крови на родину предков — в Израиль.

Справедливости ради следует сказать, что патриотизма на весь путь от Москвы до Тель-Авива, как правило, не хватало,— остатки благородного чувства улетучивались обычно в Париже, Риме или Нью-Йорке...

Все эти первые мысли и впечатления о публике «Жар-птицы» постепенно обрели во мне определенность, и когда Жанна Болотова закончила свое выступление и передала эстафету мне, я уже знал, о чем буду говорить.

— Я русский,— начал я.— Родился в городе, о котором наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин писал:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады...
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса...

Читал я, забыв обо всем,— читал с вдохновением, захлестнутый патриотическими чувствами и гордостью за свою Россию.

Хорошо или плохо — не знаю!.. Знаю одно: читал категорически не так, как бормочет эту гениальную поэму один мой московский именитый коллега по всесоюзному телевидению.

Ах, смотрите, какой я умный, какой талантливый! Я и царь Петр, я и... Петербург! И все я, я!.. Все про себя да про себя! Нет бы подумать, что читать-то следует не про себя (кому ты нужен?), а про чудотворного строителя, «чьей волей роковой над морем город основался»! И про сам город, вознесшийся «из тьмы лесов, из топи блат»! И про гений поэта, сумевшего так вдохновенно, так глубоко и нежно, с любовью и удалью воспеть одну из страниц русской истории: рождение Северной Пальмиры — Петербурга!

Любить надо все то, о чем пел Александр Сергеевич, а не притворяться, не бормотать многозначительно — дураков нынче нет!.. В телевизор все видно.

И то ли в благодарность за прекрасные стихи Пушкина, то ли потому, что я затронул больную для каждого русского эмигранта тему Родины — а скорее всего за то и за другое вместе,— в зале зааплодировали. Почувствовав этот миг моей «власти» над зрителями, я продолжал:

— Да, это Петербург! Да, это Петроград! Да, это Ленинград!.. С его именем связаиа вся моя жизнь. И горе, и радость, и любовь, и ненависть — все!.. И где бы я ни жил позже, куда бы меня судьба ни забрасывала, я любил, люблю и буду всегда любить мой родной Ленинград! Люблю единственной в жизни любовью. Как и вы, вероятно, любите свой город или место, где родились.

Судя по лицам некоторых зрителей, особенно активно выражавших мне симпатию и дружелюбие, я понял, что в зале присутствует немало моих земляков, жадно ловивших каждое слово о Ленинграде.

Говорил я и о том, что молюсь, так сказать, сразу двум богам: работаю в театре и кинематографе одновременно. Кого из этих двух богов люблю больше, сказать затрудняюсь, но знаю твердо: чтобы быть настоящим актером, надо работать в театре.

— Театр — учреждение с режимом почти ежедневных репетиций и спектаклей, держит актера в постоянной профессиональной форме, как спортсмена ежедневные тренировки.

И творчески актеру в театре интереснее... Он имеет дело с живыми людьми, с тишиной живого зрительного зала, когда иногда артист ощущает свою «власть» над умами и сердцами зрителей. А это немаловажное обстоятельство!.. И те биотоки, которые идут со сцены

в зал и из зала на сцену, как бы взаимообогащая и артиста и зрителя, это не просто разговоры, пустые слова и прочее... Существует такая связь артиста и зрителя, такой редкий, но счастливый союз, когда и рождается вдохновение, происходит таинственный акт творчества.

Но и кинематограф никогда не брошу. Кинематограф могуч своим воздействием на людей! Силой и масштабом этого воздействия.

Кинематограф немедленно откликается на любое чрезвычайное событие в жизни человека... В жизни государства, общества... Кинематограф всегда на переднем рубеже жизни! И возможность мне, не артисту, а человеку, гражданину, быть на этом переднем рубеже жизни, сказать о ней свое собственное слово, заявить о своей философской позиции, о своем презрении к чему-либо в жизни устами и поступками своего героя, заявить о своей радости, гневе, боли, возмущении и т. д., конечно, почетное право... За это я безмерно люблю кино!

Но, будучи театральным артистом, снимаюсь только в свободное от театра время, и снялся уже в восьмидесяти фильмах. И в это же свободное от театра время приехал в Париж нмею сейчас удовольствие разговаривать с вами.

И раз уж я начал свое слово стихами, позвольте мне и закончить его стихами Леонида Бородина:

Мы с детства в Русь вколдованы —
Лишь помни и носи!
Но судьбы уготованы,
И нет уж той Руси!

То к худшему?
То к лучшему?
Кому про то ясней?
По Пушкину,
по Тютчеву
Знакомилнсь мы с ней.

Сквозь песни молодецкие
Мы ищем нашу Русь.
Нам бабки досоветские
Вложилн эту грусть.

Но тропы опечатаны.
Не тронь!
Не воскреси!

Последние внучата мы
Несбывшейся Руси!

Мне Русь была не словом спора,
Мне Русь была судья и мать!
И мне ль российского простора
И русской доли не понять,
Пропетой чуткими мехами
В одно дыхание мое!
Я сын Руси
с ее грехами
И благодатями ее.

Но нет отчаянью предела,
И боль утрат не пережить —
Я ж не умею жить без дела,
Без веры не умею жить!
Без перегибов, перехлестов,
Без верст, расхлестанных, в пыли!
Я слишком русский,
чтобы просто
Кормиться благами земли!

Знать, головою неповинной
По эшафоту простучать!
Я ж не умею вполовину
Ни говорить и ни молчать!

Проводили нас со сцены тепло и благодарно. Было очевидно, что оба мы, и Жанна и я, что называется, «пришлись» публике.

В антракте, когда мы проходили по фойе, нас окружили улыбающиеся зрители. Благодарили, говорили комплименты, задавали всевозможные вопросы, просили автографы...

Из большинства вопросов явствовало, что ничего они не знают о нас путного, правдивого... Многим все еще казалось, что мы заорганизованные, «зашоренные» роботы, говорящие и действующие по указке и не имеющие права рассуждать самостоятельно...

Наша простота и раскованность, готовность понять шутку и шутить самим явились для них приятной неожиданностью и откровением. И это в Париже?! (Не так уж и далеко от Москвы.)

«Земляки» осаждали расспросами о Ленинграде. Как выглядит Зимний дворец? В какой цвет покрашен? Остались ли торцы на Невском? Цела ли Мариинская опера? Сохранились ли после войны дворцы Царского Села, Петергофа, Ораниенбаума?..

Пришлось обстоятельно отвечать. Одна древняя старушка спросила:

— Скажите, а дом номер пятьдесят один по Литейному проспекту сохранился?

Ведь надо же! Как раз в этом доме помещался Ленинградский областной драматический театр, в котором я несколько лет работал.

— А почему это вас интересует?— спросил я.

Старушка замялась слегка и сказала:

— В некотором роде я когда-то была его хозяйкой.

Я ответил, что дом не только существует, но больше того, опасаясь неожиданного приезда «хозяйки», его не только отремонтировали, но и покрасили заново.

— А в какой цвет?— улыбнулась она.

Я ответил.

— Таким он и был при мне,— успокоилась «домовладелица».

Другая аккуратная старушенция робко «тюкала» меня по руке чем-то блестящим, стараясь обратить на себя мое внимание. Когда ей удалось это, она протянула мне клеенчатый кошелечек и сказала:

— Мосье Жженов!.. Все у вас чего-нибудь да просят... Кто автограф, кто что... А я хочу дать вам на память этот пустяковый кошелечек. Пусть ваша дочь хранит в нем билеты на метро.

— У нас не существует билетов на метро,— сказал я.

— Ну что ж!.. Тогда пусть существует память обо мне,— нашлась старушка.

На внутренней стенке кошелька синим фломастером слова: «Артистка Харьковского театра Е. Ещенко. Париж. 1975».

Сувенир этот моя дочь хранит и по сей день.

У самого выхода из «Жар-птицы» случилось неожиданное... Когда по просьбе хозяев клуба я расписывался в книге почетных гостей, за моей спиной вдруг раздался хрипловатый возглас:

— Здорово, Жорка!

Я опешил. Не сразу дошло даже, что это могло относиться ко мне. Когда дошло, я обернулся, стараясь понять, кто бы это мог быть. Обернулись и мои спутники. Вокруг стало тихо. Все с любопытством ждали, что будет дальше.

Говорят: всякая биография на облике человека неизбежно оставляет свой след. Передо мной стоял чело-

век, чья внешность целиком подтверждала это правило.

Левая рука этого человека неподвижно висела вдоль туловища. На руке была натянута кожаная перчатка... Я-то знал, что руки нет вовсе... Характерные морщины беспорядочно перекрестили когда-то холеное, красивое лицо... Кстати, сейчас его лицо нравилось мне больше, чем тогда... И глаза... Его темные семитские глаза, хитрый прищур которых и нагловатую самоуверенность погасили последующие страдания. Святая правда, что в глазах человека, как в зеркале, можно прочесть всю его жизнь!

— Гришка?!— Мы пожали друг другу руки.— Живой?

— Как видишь!..

Дальше состоялся следующий диалог.

Он:— Надолго здесь?

Я:— Завтра возвращаюсь в Москву. А ты?

Он:— Я ведь теперь живу в Европе! Завтра еду в Италию, вот так!..

(В этом месте, по его расчету, я должен был испытать зависть. Зависти в себе я не почувствовал.)

Я:— Да, я понимаю...

Он:— Познакомься, моя жена!

(Он представил мне женщину, которую я не запомнил. Мы поклонились друг другу.)

Он:— Может быть, тебе деньги нужны?.. Долларов двести могу ссудить...

(Вопрос явно был рассчитан на публику.)

Я:— Спасибо, Гриша. Свои финансовые дела я вчера еще закончил. Лучше побереги доллары для себя — пригодятся.

Он:— Как знаешь!

(Мы оба молча смотрели друг на друга и не знали, о чем нам говорить дальше.)

Я:— Чувствуешь себя как? Как здоровье?

Он:— Спасибо. Теперь хорошо. А ты? Неплохо выглядишь!

Я:— На севере мясо не портится!.. Сам знаешь...

Он:— Еще как знаю!..

(Опять замолчали. Становилось как-то неловко... Не про погоду же начинать!..)

Он:— Ну что ж, ладно, привет!..

Я:— Привет. Прощай!

На мое «прощай» Гриша усмехнулся иронически, мы пожали руки друг другу и разошлись.

Мои спутники продолжали вопросительно и с любо-

пытством смотреть на меня. Я все еще не мог окончательно прийти в себя.

— Братцы!— наконец сказал я.— Какой потрясающий сюжет в голове... Грандиозно!.. И название уже придумал: «От «Глухаря» до «Жар-птицы».

2

«Дорога в ад устлана благими намерениями»— гласит поговорка.

В день Первого мая за «благие намерения» я получил подарок от своего начальника — очередные десять суток карцера с последующей отправкой на штрафной прииск. Моя «дорога в ад» началась в гараже районной экскаваторной станции (РЭКС) и, пройдя «душечистилище» лагерного карцера, закончилась на вахте штрафного прииска «Глухарь», прилепившегося у самого перевала к каменистому, поросшему мхом склону сопки.

Тот злополучный день начался как обычный трудовой день... Первомайский праздник на заключенных не распространялся, лагерь работал, как всегда.

Массовый взрыв уже состоялся. Экскаваторы ППГ трудились вовсю. Пыхтели, скрежетали по вечной мерзлоте ковшами, очищали подошву забоя от взорванных пустых пород (торфов). За бортом забоя росли огромные отвалы мерзлой породы. Вездесущие лоточники, как навозные жуки, уже копошились в них в поисках золота.

Стояла глубокая оттепель. Днем таяли снега, начали оттаивать забои. Вот-вот начнется промывочный сезон.

Начальство всячески торопило с окончанием вскрышных работ, поэтому в праздничный день работали не только заключенные, но и некоторые вольнонаемные, без которых в этот день нельзя было обойтись.

В гараже, где я работал единственным диспетчером, уже с утра все пошло наперекосяк. Машины, развозившие экскаваторам топливо и воду, обслуживали вольнонаемные водители. Некоторые из них не вышли в этот день, видно, еще с вечера начав отмечать праздник, а от тех, кто явился, проку оказалось не много: после нескольких утренних рейсов в забой, к экскаваторам, они ухитрились набраться так, что засыпали у диспетчерского столика, пока я отмечал им путевые листы. Приходилось самому садиться за баранку и выручать товарища.

Вот я и мотался туда-сюда, пытаясь предотвратить

простои экскаваторов, рассосать ситуацию в надежде, что мои «павшие» проспятся и вернутся в строй. Но много ли я мог сделать один, когда со всех участков забоя, как сигналы бедствия, неслись тревожные гудки экскаваторов, требовавших воды и топлива.

Грешным делом, к полудню я и сам не удержался — причастился! Сердобольные «вольняшки» преподнесли и мне чарку — поздравили с праздником.

С нами старались не иметь никаких контактов только те «вольняшки», кто завербовался на «материке», заключив «полярный договор» с Дальстроем, кто приехал на Колыму за «длинным рублем» или по каким-нибудь иным причинам, известным только им самим и никому больше. Но таких почти и не было на простых физических работах. Они или занимали командные, начальственные должности, или, если возраст соответствовал, а специальной брони, дающей отсрочку, у них не имелось, были призваны в армию и воевали сейчас на фронтах Великой Отечественной.

Как назло, и погода фокусничала: чередовала солнечные прогалы с такими снежными зарядами, что в шаге от себя ничего нельзя было разобрать за сплошной стеной хлопьев мокрого снега.

Когда заряд кончался и на короткое время показывалось солнышко, кругом опять стояла первозданная целина.

Нелепой, чужеродной казалась вдали громада орущего экскаватора, невесть как оказавшегося в сияющем сказочном царстве нетронутого снега — ни следов, ни дорог, ничего!..

В один из таких «слепых» рейсов меня и угораздило наткнуться на своего начальника, когда, сбившись с пути, я кружил на одном месте в поисках дороги.

«Моя судьба» поджидала меня на обочине, у дорожной вешки, торчащей из снега, и семафорила рукой, приказывая остановиться. Ничего хорошего встреча не сулила, я понимал это. В чистом колымском воздухе запах алкоголя, принятого мною сегодня, мог перебить разве что запах керосина или жареной нерпы... Но нерпы не было, а керосином запахло в фигуральном смысле — нюх у моего начальника был не хуже чем у добермана.

— А ну, постой-ка... постой! Притормози. Ты чего это кружишь?— Он подошел к кабине.

— Заблудился...— стараясь не дышать в его сторону,

ответил я.— Сами видите — кругом бело, дорог никаких!.. Того и гляди, загремишь в забой вместе с машииой. Не подскажете, гражданин начальник, как проехать иа пятый?.. Везу топливо экскаватору.

— А почему за рулем?.. Кто разрешил? Где вольный водитель?— Ои подозрительно приглядывался ко мне.

— Водитель?.. Дома, наверное,— сегодня же праздник! На работу не вышел, вот я и езжу. Не стоять же экскаватору.

Не зря я боялся — начальник унюхал-таки запах алкоголя.

— Пьяный?!— аж задохнулся он и без всякого перехода, как это часто бывало с ним, заорал:— Заблудился! Дорогу тебе подсказать, иегодяй?! В такой день напился, позор!.. А иу, вылезай из кабины, алкоголик!

Остановить его теперь было невозможио — начальник «пошел вразнос»... Я повиновался, вылез из машины — от судьбы не убежишь.

— Он заблудился! Дорогу потерял! Ничего, я выведу тебя иа чистую воду... Я подскажу тебе дорогу, иегодяй!— Начальник иикак не мог вытащить из кобуры огромиый ржавый пистолет.— На вахту, шагом марш!

— Воду бы спустить на всякий случай...— Я показал рукой на машину.

— Не твоя забота, шагай!— Он ткнул меня пистолетом в спину.

— Спрячьте пушку-то, гражданин начальник! Не смешите людей. С такими игрушками не шутят.

— Молчать! Пристрелю.

— Стреляй, спииа широкая... Ну!— вдруг с какой-то забубенной удалью закричал я, теряя контроль иад собой.

— Молчать!

— Не замолчу!— Я уже ие боялся его.

Отчаяние, гиев, обида, годами копившиеся во мне, рвались наружу. Выпитый спирт только придал храбрости — верно, что пьяному море по колено... Я понимал, что жгу корабли, но уже ничего с собой поделать не мог, меня прорвало.

— Ты как со мной разговариваешь, негодяй?— Начальник захлебнулся от ярости.

— Не нравится, да?— кричал я.— А мне, думаете, нравится, как вы годами измываетесь надо миой, за что?.. Вам нравится, что я послушно ишачу, как бесправный раб? Вы привыкли к этому?.. Потому и таскаете

за собой, как собственность... Я вам не собака — хочу казню, хочу милую!.. Я человек, а не скотина, запомните это! Он пристрелит меня!.. Мало, видно, понастреляли за эти годы — все еще руки чешутся, да?.. Ну и стреляйте, чего боитесь? Вам за это только лишнюю бляху повесят на грудь «за храбрость», одним контриком меньше! Знаем, как это делается: «Убит при попытке к бегству», подпись, печать, и все — хана! Человека как и не бывало, остался один акт! А что? Нас двое в поле, кругом снег, свидетелей, кроме бога, никаких, кому верить?.. Вам, конечно,— бог нынче не в счет.

Подумаешь, преступление, выпил! Угостили. Сегодня международный праздник трудящихся всего мира! А кто я такой? Самый настоящий трудящийся. Значит, и праздник мой! Где сказано, что он только для «вольняшек»? Спасибо, нашлись добрые люди, догадались — поздравили. Это от вас не то что благодарности — прошлогоднего снега не дождешься. Вы только пугать и умеете: карцер, срок, пристрелю! Знаете свое «давай-давай»... Хотя бы когда сказали «на, возьми», или «спасибо»... Что я выпил, вы унюхали, а вот что я вкалываю за другого дядю, вам невдомек! Где же ваша совесть?

Кто заставляет меня делать чужую работу — возить по забоям топливо? Никто. Это не моя забота. Экскаваторы встанут? Ну и хрен с ними, пусть стоят! Что мне, больше всех надо? Это — ваше дело. Вы начальство — вам и думать! За это вам деньги платят! Однако я, как божья коровка, ползаю с утра по забоям, а почему? Потому, что совесть моя не позволяет равнодушно слушать, как трубят экскаваторы, понятно? Только не у всех она, видно, есть, совесть!

Один мой следователь хвастался, что у него вместо совести х...й вырос! Вот так, гражданин начальник! И не пугайте меня, бесполезно, ничего не выйдет! Больше, чем меня напугали в 1938 году, уже не напугаешь.

Я выплеснул ему в лицо все свои обиды, накопившиеся за годы вынужденного «мирного сосуществования» с ним. Я не боялся, что в сердцах он может пристрелить меня,— такого за ним вроде бы не водилось, хотя с нервами было далеко не в порядке — психовал он часто. Сейчас он еле владел собой. Разозлил я его ужасно.

Не задумываясь, он застрелил бы меня, если бы нашел в себе силы переступить через себя, через свою природу. Это-то сознание бессилия и приводило его в исступле-

ние больше, чем слова, в выборе которых я не особенно стеснялся, так как и сам сейчас не очень владел собой.

Ему необходимо было сорвать свою злость, облегчить душу — своей ярости он искал выход. Он материл меня последними словами, искал способ чем-нибудь донять... и нашел наконец!

Не доходя до вахты лагеря, закричал коменданту:

— Парикмахера сюда, немедленно!

А когда парикмахер явился, выхватил из его рук машинку, толкнул меня на пенек у вахты и с каким-то сатанинским наслаждением принялся стричь мне волосы на голове.

Волосы, отросшие за время диспетчерства и чудом убереженные от парикмахера в дни обязательных банных стрижек в лагере.

Волосы — признак вольного человека!

Длинные волосы — иллюзия свободы! Мечта и гордость каждого заключенного!

Нашел все-таки мою болевую точку... Закончив экзекуцию, вынес приговор:

— В карцер! На десять суток.

Так в дни Первомайских праздников 1943 года я оказался в лагерном карцере прииска имени Тимошенко, в неунывающей компании «блатных». Надо отдать им должное, в критических ситуациях они не теряются, не раскисают, не поддаются отчаянию и не празднуют труса. Лагерь для вора — дом родной! Не потому, что там сладко, там очень несладко, но там привычно. Лагерь — постоянная среда обитания людей этой древней профессии. Жизнь вора — детективный фильм в пяти сериях: преступление, арест, тюрьма, суд, лагерь. А освобождение или побег — всего лишь антракт между двумя очередными сеансами. Долго он не длится, даже у самых удачливых: опять следует преступление, арест, тюрьма и т. д. И все повторяется сначала, или, как воры говорят, «по новой»... Исключение составляют «завязавшие», мне встречать таких не доводилось. Воры — как волки: долго не живут и почти не приручаются. Но их сила воли, их живучесть поражает. Они умеют терпеть физическую боль, переносить болезни, голод, произвол охраны... Нельзя не восхищаться их стойкостью. Честный вор (вор в законе) товарища в беде не оставит — разделит с ним последний кусок хлеба. Воры в законе — своеобразное братство, масонская ложа со

своим кодексом чести, со своими воровскими законами. Жестокими, жуткими, волчьими... но не шакальими. Полное презрение к материальным ценностям, к деньгам. Деньги шалые — улетят, прилетят, как голуби! Никакого крохоборства, на карту ставится все...

Среди воров много одаренных от природы натур, талантливых, сильных, умных. Трагично, что эти недюжинные качества получали такое уродливое выражение в жизни.

Артистов они любят. Меня приняли нормально, хотя я для них никто — фрайер. Даже потеснилнсь на нарах. И в этом было спасение, поскольку, сидя в карцере в одиночку, можно запросто «дать дуба» от холода. Майские вечера на Колыме не вечера на хуторе близ Диканьки — мороз ночью лютый! А дров нам полагалось всего восемь килограммов на сутки. Эту «пайку» берегли на те минуты, когда засыпали. Все остальное время ночи обогревались друг о друга.

Наше еще счастье, что карцер мы получили с выводом на работу. Рано утром конвой забирал нас и гнал в забой. Понукать и подбадривать не было нужды — выскакивали из «кандея» как пробки из бутылок.

Очередные десять суток, которыми наградил меня начальник лагеря за мое трудовое усердие, мне предстояло отбыть от звонка до звонка. Как говорится, час в час, минута в минуту. Не девять и не одиннадцать суток, а ровно десять. Старший лейтенант Лебедев Николай Иванович своему характеру не изменял никогда. Рассчитывать на его милосердие не приходилось.

За три с лишним года, что он таскал меня за собой по всей Колыме, куда бы его ни переводили по службе, я заработал от него в знак особого к себе расположения суток двести карцера, не меньше. И отсидел бы их все сполна, если бы не научился вовремя, исчезать с его глаз, пока он кричал и ругался, до появления коменданта или охраны. Был он вспыльчив, но отходчив,— не видя перед собой объект раздражения, скисал, гнев его мгновенно испарялся.

Справедливости ради надо сказать, что человек он был незаурядный и в своем роде обаятельный.

Прекрасный организатор — решительный, энергичный. Не давал покоя ни себе, ни другим. Мучил всех. Сутками не вылезал из забоя — подгонял, проверял, требовал... Непонятно было, когда он спал.

«Чума»— так прозвали начальника за непредсказуемость его поступков. Никогда нельзя было угадать, как он поведет себя в тот или иной момент. Его часто захлестывали эмоции.

...В лагерь привезли бильярд?! Кому это пришло в голову, неизвестно — акцией ума этот факт не назовешь. Скорее всего это был знак расположения кого-то к кому-то и за что-то. Факт остается фактом — бильярд появился. Ясно, что это была мера поощрительная,— ну, скажем, реакция культурно-воспитательной части МАГЛАГа на трудовые успехи лагеря. Бильярд не настоящий, но и не игрушечный. Шары не костяные, но и не металлические — так, ни то, ни се, эрзац, но играть можно.

Специально для него распорядились построить на открытой площадке лагеря навес от дождя. Начальник радовался больше всех.

С кием в руке я и увидел его, когда, выспавшись после ночной смены, вышел из барака. В измазанных мелом галифе он кружил с видом победителя вокруг бильярда и легко, с прибаутками обыгрывал каждого, кто пытался соперничать с ним. Роль чемпиона ему нравилась, он был в прекрасном настроении. Заметив меня, предложил и мне сразиться с ним. Я согласился (разве откажешь начальнику).

— Американку, пирамидку?— с высокомерностью спросил он.

— Как угодно, гражданин начальник!— скромно ответил я и добавил:— Если в пирамидку, даю вам, не глядя, десять очков форы.

— Во нахал, во нахал! Все слышали, да? Так! Ладно, принимаю условие. Посмотрим... Начинай!

Школа, которую я прошел в свое время у маркера Дмитрия Михайловича Иванова (знаменитый Митя Сапожок) в Ленинграде, сделала свое дело — партию я у него выиграл.

— Давай ставь следующую. И не нужна мне твоя фора — играем на равных!— Начальник мрачнел.

С каждым положенным мною в лузу шаром барометр его настроения стремительно падал, предвещая бурю... Вокруг нас собрались любопытные. Мне бы, дураку, проиграть ему, а я опять выиграл. В середине третьей партии, поняв, что и ее проигрывает, начальник зловеще оглядел меня с ног до головы и спросил:

— А почему ты не на работе?

— Я же в ночную смену,— опешил я.

— Я покажу тебе ночную смену, бездельник! Дармоед! Комендант!— закричал он. И когда тот подошел, начальник, тыча мне в грудь кием, приказал:— В карцер его!

Так до вечернего развода я и просидел там — не выигрывай у начальства!

* * *

Какое-то время мне посчастливилось работать водителем в РЭКСе. В мои обязанности входило возить топливо и воду экскаваторам ППГ. Начальник сообразил, какая ему от моей работы может быть выгода.

— Слушай, Жженов,— обратился он ко мне как-то на разводе.— По твоей статье тебе полагается быть в забое на общих, и нигде иначе,— а ты где работаешь? То-то! Не забывай это и помни, что ты в лагере живешь — лагерь твой дом, а не РЭКС! Зима на носу! Дрова нужны и на кухню, и в бараки. Что тебе стоит сделать одну-две ездки? Ты же хозяин на машине! Понял меня?

Я передал этот разговор начальнику РЭКСа и попросил разрешения сделать несколько ездок с дровами в лагерь.

— Ты же недавно возил дрова в лагерь?— удивился он.

— Выходит, мало,— ответил я.

— Да пошел он к ...! Пусть сам обращается ко мне. Нечего зека шантажировать! Так и передай ему.

Ничего, конечно, передавать я не стал, а при первом же удобном случае закинул несколько машин с дровами в лагерь, на свой страх и риск. Начальник РЭКСа узнал об этом самовольстве и снял с машины — разжаловал меня в слесари. Спасибо, что не выгнал совсем, а перевел в гараж на ремонтные работы. Там на меня случайно и наткнулся начальник лагеря. Я лежал под машиной в холодном, обледенелом гараже и крутил гайки — наружу торчали только ноги...

— Эй, кто там? Чьи ноги?— Он постучал валенком по моим ногам.

— Мои, мои...— Я выглянул из-под машины.

— Жженов, ты?— удивился он.— Что ты тут делаешь?

— Что я делаю? Отбываю наказание.

— Не понял. Какое наказание?

— Расплачиваюсь за самовольство.

— Тебя сняли с машины? За что?

— За дрова. За что же еще?.. Вы же советовали не забывать дом родной.

— Ах, вот оно что! За это лучшего моего работягу под машину?— взъярился начальник.— Это что же такое делается?! А ну, марш в лагерь сейчас же! Я покажу ему, как моих работяг морозить! Снимаю тебя с этой работы. Пускай «вольняшки» на него ишачат! Иди, иди!.. — И он побежал в контору РЭКСа.

Как они объяснялись друг с другом, оба моих начальника, неизвестно, а вот результат их встречи аукнулся мне уже на следующий день...

Нарядчик, проводивший утренний развод, вместо РЭКСа отправил меня в забой иа общие.

«Паны дерутся — с холопов шапки летят!»

* * *

Однажды ночью вблизи прииска случился пожар. Горела сопка, поросшая стлаником. Хвоя вспыхнула, как порох, мгновенно опоясав огненным кольцом всю сопку. Огонь, набирая силу, скатывался все ниже и ниже к подножию сопки, угрожая приисковым строениям: эстакадам, сплоткам, буторным приборам, транспортерам — всему деревянному хозяйству прииска. По тревоге были подняты на ноги все. И вольные, и заключенные, и вохра... Тысячи людей, хватая кайла, лопаты, ведра, полезли на сопку навстречу пожару... Несчастье сплотило всех.

Николай Иванович, конечно, был в первых рядах «атакующих». Закопченный, страшный, в обгоревшей шинели, вымазанный в грязн и саже, вымокший... Размахивая какой-то парусиновой хламидой, он бросался на огонь и, как хитрый полководец, не теряющий разума в исступлении боя, охрипшим голосом командовал своей верной гвардии: «Вольняшки» на х...! Заключенные, за мной! Вперед! Ура!»

К его чести, надо сказать, что в отношениях с людьми он не делал разницы между вольнонаемными и заключенными, когда дело касалось работы.

«Вольняшки» недолюбливали его за настырный, беспокойный характер и побаивались.

Зеки, наоборот, хотя и терпели от него многое,— уважали, инстинктивно чувствуя отсутствие личной корысти в его одержимости.

Мерил он всех одной меркой — работой. Если ты

постоянно выполнял дневную обязательную норму, а не дай бог еще и перевыполнял,— ты ему лучший друг. К таким, кто по неопытности илн по жадности нес ему золота больше нормы, демонстрировал личное расположение. Немилосердно льстил, поощрял продуктовыми подачками из ларька — спиртом и махоркой (по курсу: грамм золота — грамм махорки). Упаси бог было смалодушествовать и польститься на его щедрость. Начальник быстро привыкал к новой порции и уже требовал ее перевыполнения, и так без конца... Он забывал, что перевыполнять норму постоянно нельзя. Часто это не зависело от самого работающего даже: ведь содержание золота в жиле непостоянно и неравномерно (то густо, то пусто)... А если ты лоточник — моешь золото лотком, то не последнюю роль играет еще и везение, случай. Начальник все это прекрасно знал, но... «забывал»! Когда же обласканный, вывернутый наизнанку зек возвращался к первоначальной, минимальной норме, лишал его своих милостей, попрекал как бездельника и грозил карцером.

Начальник придумал «ежедневный субботник»... Обложил золотым оброком всех, кто непосредственно не работал в забое, кто не мыл золото лотком или на проходнушках. Всю лагерную обслугу и всех придурков обязал под страхом «кандея» ежедневно в течение всего промывочного сезона после основной работы в зоне лагеря выходить в забой...

Золото, золото... Кровь из носу, а подай золото! Ищи где хочешь, когда хочешь и как хочешь, но двадцать граммов отдай!

Бдительно следил за всеми, кто ловчил и изворачивался, кто заставлял других ишачить вместо себя. Таких, если удавалось поймать, беспощадно гнал с блатных, насиженных мест на общие работы.

Зачем, например, хлеборезу, врачу или нарядчику корячиться в забое самому? Любой работяга-лоточник за лишний кусок хлеба или освобождения от работы с радостью будет снабжать их металлом — подумаешь, двадцать граммов!

Каждое утро в тазике у дневального после мытья пола в бараке оставалось 3—5 граммов золота, занесенного из забоя на обуви и одежде работяг.

В Омчагской долине, или «в долине маршалов», как ее называют, на приисках имени Буденного, Воро-

шилова, Гастелло и Тимошенко золота было много. Брали его, как и везде на Колыме, хищнически, брали где легче, не заботясь о будущем, лишь бы дать план, задобрить начальство.

Теперь, через много десятилетий, с великими затратами перемывают то, что тогда бездумно ушло в отвалы.

Шутка ли... Одними «ежедневными субботниками» Николай Иванович Лебедев ухитрялся приобщить к производственному плану прииска более десяти килограммов золота ежедневно!

Энтузиаст и идеалист, он «кнутом и пряником» пытался бороться за честный труд, за чистоту нравов в лагере. С одной стороны, на вечерних поверках произносил зажигательные речи, обращенные к патриотическим чувствам и гражданскому сознанию подчиненных ему зеков, с другой стороны — всех устрашал вывешенный на самом лобном месте перед вахтой для обозрения грозный приказ, категорически, под страхом смерти, запрещающий пронос металла из забоя в зону.

Его филантропические усилия успеха почти не имели. Разве что лишний раз застревали в мозгу той части безвинных зеков, которой и без его проповедей не чужды были патриотические чувства. Но, к сожалению, они являлись лишь частью «Ноева ковчега», бесправной его частью. Власть в лагерях принадлежала уголовникам, начиная с матерых бандитов-рецидивистов и кончая бытовыми преступниками. Призывы к их сознанию по меньшей мере наивны. Всем давным-давно известно, что наши исправительно-трудовые лагеря еще никого не исправляли, а если и перевоспитывали, то скорее в обратном порядке, превращая неопытных дилетантов в профессионалов-рецидивистов с «гулаговскими» дипломами, специалистов узкого профиля: ширмачей, домушников, скокорей, щипачей, ключников, мокрушников и прочей сволочи... «Друзья народа», свившие уютные гнезда в лагерях, терроризировавшие всех и вся! На приказ у вахты не обращали внимания. В угрозу расстрела не верили. Золото как несли, так и продолжали нести: оно заменяло деньги. На него выменивалось все: и пища, и табак, и одежда.

Как-то он заявился в барак, где я дневалил, и шепотом, чтобы не разбудить спящих, вызвал в тамбур. Было около полуночи...

— Здравствуйте, гражданин начальник!

— Здравствуй, здравствуй,— сказал он,— как твоя рука?

— Спасибо. Ничего.— Я пошевелил пальцами.— А что, пора уже и в забой, да?

— Не спеши, покантуйся еще малость, успеешь, наработаешься! Я не к тому...

К тому не к тому, а чего-то он явно недоговаривал. Я молчал. Ждал...

Руку мне сломали. И сломали дважды. Сначала в забое, в драке, а вскоре, когда она начала срастаться и подживать, снова сломали, уже в бараке, и опять в драке (я ударил вора). Блатные распяли меня, как Иисуса Христа, на крестовине нар и заново разломали руку, обе кости (фрайер не имеет права бить вора).

В обоих случаях виноват я не был, просто я не стерпел оскорбления. Начальник разобрался беспристрастно, сочтя меня правым в этой истории, потому и не выгнал со сломанной рукой в забой, а разрешил до выздоровления быть дневальным в бараке, где жила бригада лоточников, в которой я работал до болезни.

— Понимаешь, какая штука,— заговорил он.— У меня на весах сейчас одиннадцать кг девятьсот шестьдесят г... С любой добавкой все равно это звучит как одиннадцать, верно ведь?.. И совсем другое дело — двенадцать!.. Чувствуешь?.. ДВЕНАДЦАТЬ!! И звучит иначе — солидно, понимаешь?

— Понимаю. Только к чему вы?..

— Выручай... Позарез нужно сорок грамм металла, понимаешь?

— Понимаю. Только где я возьму эти сорок грамм?

Мой вопрос он оставил без ответа. Будто и не слышал вовсе, продолжал:

— Мне через час рапортовать надо! Сводку в Магадан передавать, понимаешь?.. А у меня одиннадцать кг девятьсот шестьдесят г... Сорок грамм не хватает до ДВЕНАДЦАТИ, понял?

— Давно понял. Только где я их возьму?— как дятел долбил я.

— Где?— зашипел начальник и показал пальцем в сторону спящих:— Вон где!.. Там, у любого работяги! И брось дурака валять! Я буду его учить, у кого, где?— Он начал заводиться.— Он, видите ли, не знает где...

— Вы на что намекаете, гражданин начальник? Неужели вы думаете, что кто-то посмеет нести металл

в зону?.. Вы что, своих приказов не читаете?.. «За грамм пронесенного в зону лагеря металла — расстрел!»— продекламировал я ему.

— Пошел ты... Дашь или нет, отвечай?— Злить его дальше становилось рискованно, начальник мог взорваться.

— Ладно. Не сердитесь, гражданин начальник, подчиняюсь... делать нечего. Пойду в забой сам на ночь глядя. Прикажите вахтерам выпустить меня из зоны. Не жаль вам инвалида однорукого!— запричитал я.

— Не придуривайся, не придуривайся... Не считай меня идиотом! Жду тебя в ларьке... с металлом!— И, совсем уже уходя, пообещал:— С меня полкружки спирту.

Он понял, что сорок граммов золота я ему принесу.

Как только ушел начальник, я тихонько разбудил одного из работяг и попросил одолжить мне граммов пятьдесят металла. Пробормотав спросонья что-то нечленораздельное, он махнул рукой в сторону потолка над собой и тотчас заснул снова.

Пошуровав на ощупь за вощеной бумагой из-под аммонала, которой был обит потолок в бараке, я достал бумажный конвертик (капсюль), отсыпал из него на глаз граммов пятьдесят золота на ладонь, завернул в тряпицу и положил в карман. «Капсюль» с остатком металла засунул на прежнее место. Не спеша надел телогрейку, взял лоток и скребок в тамбуре и направился к вахте.

За вахтой, делая вид, что иду в забой, отошел шагов на пятьдесят, лишь бы меня не было видно вахтерам, разыскал подходящий камушек, сел на него, закурил, задумался...

Стояла тишина. В белесых сумерках летней полярной ночи спал лагерь, умаявшись за долгий трудовой день...

Не спали лишь охрана да начальник, дожидающийся золота в лагерной каптерке... Не спал я, делая вид, что в поте лица своего мою в ночном забое это самое золото, недостающее ему до полного счастья!.. Все идет своим чередом: бежит время, летят года!.. Хочешь остаться в живых, вернуться домой, хочешь увидеть близких тебе людей — не задумывайся, не береди себя, соблюдай правила игры — делай вид!

Незаметно подкралась, подползла тоска. Стало невыносимо грустно... Опять заскребло, заныло в груди, захотелось поднять голову и закричать!.. Истошно, позвериному! Пожаловаться небу, излиться в холодные глу-

бины звездного мироздания!.. Навсегда исторгнуть разъедающую душу боль обреченности!..

Что же они делают с нами? Когда это все кончится?

Мое счастье, что в такие минуты вся боль души моей — отчаяние, надежда, одиночество, жажда жизни, любви — каким-то непостижимым образом рвалась наружу не криком и не слезами, а в словах!.. Слова!.. Спасительные слова, рождаясь на свет, искали друг друга, тычась, как слепые котята, роились, множились... В хаосе бесчисленных комбинаций, рожденных воображением, творили себе подобных, соединялись в смысловые сочетания, продирались сквозь строй самокритичных «шпицрутенов» и, облагороженные рифмой, музыкой, ритмом, образностью, становились наконец стихами...

Не ахти какие по таланту (это от бога) — наивные, но честные, чистые... Спасительные в момент депрессии, душевного мрака, когда от самоубийства человека отделяет всего лишь шаг. Стихи, возвращающие надежду, помогающие терпеть.

Закрою глаза, и вновь снится
Прозрачная сказочность гор,
И иней на длинных ресницах,
И глаз незнакомых укор...

И кажется, звездной кометой,
Упав с бирюзовых небес,
Мелькнула, и призрачным светом
Зажегся серебряный лес.

Погасли глаз милых зарницы,
И нет ничего впереди,
И только подстреленной птицей
Колотится сердце в груди...

И снова по трассе таежной
Ползти от кювета в кювет...
Ведь юноше с «черною» кожей
Не может быть счастья и нет!

Долгие страдания не свойственны молодости, несчастья забываются. Жажда жизни, ее простые радости берут верх... А легкомыслие и некоторая авантюристичность — азартность моей натуры помогли принять предложенные правила игры. Через год-два я уже постиг законы лагеря. Жил сегодняшним днем!.. Жил, не заботясь о том, что будет завтра,— сегодня цел — и ладно...

Выражаясь языком блатных, из «чистого» фрайера я постепенно становился «мутным» фрайером, то есть

человеком опасным, с которым лучше не связываться: он может дать сдачи, постоять за себя.

Не все из нас разделяли эти неписаные законы... Не каждый очутившийся во власти ГУЛАГа считал возможным принять жестокие правила игры, предложенные лагерным «катехизисом», выстроенным по принципу: «Лучше умри ты сегодня, а я — завтра!»

Сколько прошло перед моими глазами людей, которые погибли, так и не осилив Дантовы круги колымского ада! Людей честных, глубоко чувствующих, интеллигентных.. Они погибали не от физического истощения, нет!.. Суровый климат, цинга, дистрофия, произвол уносили, конечно, жизни многих хороших людей, но эти чистые души уходили, не пережив крушения ими же воздвигнутых идеалов, крушения собственной веры. Уходили тихо, без борьбы, и никакие самые гуманные условия лагеря не могли зарубцевать смертельных ран, нанесенных достоинству человека, его чести.

...Цигарка докурена, пора возвращаться! В первой попавшейся луже отфактурил лоток и скребок, изрядно намочив их в грязной жиже, для вящей убедительности выкупал и тряпку с золотишком и бодрым шагом направился в каптерку в предвкушении обещанной мне полкружки спирта,— начальник свое слово держал всегда.

3

Поначалу это был один из пяти участков прииска имени Тимошенко. Никакой не штрафной, а самый обычный: самый верхний в распадке и самый удаленный от комендантского лагеря, где содержалась основная рабочая сила прииска — несколько тысяч заключенных.

Кроме виляющей по каменистому распадку пешеходной тропинки, никаких дорог туда не было. Если на других участках прииска, имевших подходы и подъезды, начала появляться различная горнорудная техника, облегчавшая труд, то на «Глухаре» ее и в помине не было, за исключением той, что мог перетащить на себе сам человек или вьючная лошадь.

Добыча золота велась там дедовским способом, по старинке — лом, кайло, лопата, тачка... остальное — мускулы... «ЧТЗ!»— горько шутили зеки, уподобляя забойщика продукции Челябинского тракторного завода.

Заключенные комендантского лагеря, работавшие на

«Глухаре», ежедневно брели под конвоем пять километров туда и после двенадцатичасового тяжелого труда в забое спускались обратно в лагерь...

Очень скоро такая «утренняя гимнастика» по камням распадка оказалась не под силу даже для самых молодых и выносливых...

Сидевшие по пятьдесят восьмой статье (а их было большинство на прииске) не относились ни к молодым, ни к выносливым,— эти люди на воле представляли мозг государства, а не его руки!.. Условия лагерей Дальстроя для них оказались непосильны. Очень скоро люди стали сдавать, превращаться в доходяг, увеличивая и без того огромный процент приморенных режимом.

Николай Иванович Лебедев понимал многое. Ему и пришла в голову идея организовать в верховье распадка, рядом с забоем, где велась добыча золота, отдельный лагпункт, чтобы, во-первых, не тратить напрасно время на выматывающую людей дорогу, во-вторых, туда легко будет ссылать всех мешающих нормальной жизни лагеря... Всех неугодных, всех, кто не хочет или не может работать в забое.

Среди лагерного начальства все чаще попадались люди, изверившиеся в разумности исправительно-трудовой политики ГУЛАГа, поощрявшей совместное содержание уголовников и политических...

Мне казалось, что и Николай Иванович понимал, что, несмотря на отлаженный годами механизм власти, действительный хозяин в лагере не он и не честные работяги, как ему думалось и хотелось, а уголовники... они хозяева положения!

Монаршья власть в лагерях принадлежала «элите» уголовного мира! Матерым бандитам, ворам-рецидивистам, бытовым преступникам — жуликам, аферистам, взяточникам... Они были истинные хозяева! Они вели себя как волки в овчарне, эти выродки, мразь, отбросы общества.

Идею создания штрафного прииска в Омчагской долине поддержали все. У каждого начальника паразитирующей «шоблы» накопилось достаточно, и каждый мечтал от нее избавиться.

В выбранном месте наспех соорудили бараки, кухню, несколько служебных помещений, вахту... В небо поднялись колокольни сторожевых вышек. Через несколько дней из лагеря приисков имени Буденного, Ворошилова,

Гастелло, Тимошенко пригнали этап «новоселов» — человек четыреста неугодных своему начальству зеков с постельными принадлежностями на спинах, с жалкими личными пожитками в руках.

За ночь зону опутали колючей проволокой, как рождественскую елку канителью... На вышки забрались «муэдзины» с автоматами, зашевелились перед вахтой охранники в новеньких полушубках, залаяли собаки...

Для Николая Ивановича существование под боком «Глухаря» оказалось как нельзя кстати. Он сплавлял туда всех блатных, не желавших ни перевоспитываться, ни работать. Он ненавидел их! Выметал из лагеря беспощадно. Пачками гнал под конвоем на «Глухарь».

Настал наконец день, когда и мои десять суток наказания пришли к концу. Конвой вывел всю нашу блатную компанию из карцера и повел мимо забоев вверх по распадку, по берегу очнувшегося от зимней спячки ключа, к самым его истокам, в сопки... Там, у перевала, ощетинился колючей проволокой на все четыре стороны света мой новый родной дом — штрафной лагерный пункт «Глухарь».

У вахты произошло недоразумение: начальник «Глухаря», неприметной внешности офицер с лейтенантскими погонами, сухощавый, подтянутый, увидев меня, опешил:

— А ты чего здесь?

Приняв от конвоира сопроводительные документы, он передал их коменданту. Блатных увели в лагерь. У вахты мы остались вдвоем.

— Ты ко мне, что ли? — Он озадаченно смотрел на меня.

— К вам, гражданин начальник! — Я улыбался, понимая его недоумение.

— Гражданин?..— Он растерянно оглядел меня... заметил стриженую голову.— Так ты заключенный, что ли?.. Вот это номер... А я за вольняшку тебя принимал!.. Ай-яй-яй-яй-яй!..

Лейтенант Габдракипов Сергей Халилович знал меня. Он часто обращался в РЭКС по всяким транспортным вопросам. Как диспетчер по мере возможности я всегда помогал ему. Мне нравилась его манера вести себя. Держался он со всеми ровно, вежливо.

Взяв на вахте сопроводительный документ, он внимательно прочел его, озадаченно посмотрел мне в лицо.

— Знаешь, что тут написано о тебе? — Я отрица-

тельно покачал головой. Он зачитал:— «Использовать исключительно на общих подконвойных работах, впредь до особого распоряжения. Старший лейтенант Лебедев». За что он тебя так?..

Я пожал плечами: что сказать ему?.. Мы оба молчали. Бедный Габдракипов!.. Он не знает, как ему вести себя со мной дальше...

— Ну что ж, ладно,— наконец произнес он,— проходи!.. Что-нибудь придумаем.

Придумал он не сразу.

Поначалу я угодил в забой на общие, гонял тачку... Промывочный сезон только начался — шло первое золото... Бригада, в которую я попал, работала звеньями по три человека. Каждой тройке отмерялся свой участок забоя, своя дневная порция... Двое кайлили оттаявшую породу, загружали лопатами в тачку, третий отгонял груженую тачку по деревянным трапам, проложенным по подошве забоя, на транспортерную ленту (единственная механизация в забое). Дальше порода двигалась по ленте к бункерам, высыпалась туда и попадала на наклонную плоскость, застланную дырчатыми железными листами (грохота). Здесь и происходила буторка породы... Сюда же по сплоткам (деревянным желобам) подавалась из ключа в распадке вода, размывая ползущую по грохотам породу. Помогала специальная бригада буторщиков, вооруженных шестами с лопатками на конце, наподобие тех, которыми орудуют крупье на игорных столах в рулетку (только бóльших размеров). Они беспрерывно толкали ползущую породу навстречу течению воды, способствуя промывке. Золото как более тяжелое оседало на торцах деревянных колабашек, на веревочных и матерчатых матах, разостланных под грохотами, все остальное уходило с водой в отвалы пустой породы.

По окончании смены подача воды уменьшалась, поднимались грохота, из-под них вынимали маты и торцы, золото с них стряхивали на настил, застрявшие частицы окончательно выполаскивали малой водой. После этого вода перекрывалась совсем, золото подметали в совки (как подметают сор с пола), взвешивали... Вечером подводили итог рабочего дня лагеря. Складывался он из трех взаимозависимых показателей. Количество перелопаченной в забое породы зависело от количества людей, участвующих в этом процессе, и — как

результат первых двух показателей — количество килограммов добытого золота.

Начальство строго следило за тем, чтобы в забое работало как можно больше людей.

Ежедневно, после утреннего развода, начальник лагеря в сопровождении коменданта, старосты, нарядчика и врача обходил опустевший лагерь с проверкой. Кроме обслуги, работающей в самой зоне, кроме дневальных в бараке и пяти-шести человек больных, имевших освобождение (больше врачу освобождать не разрешалось, он рисковал сам очутиться в забое), в лагере не должен был оставаться ни один человек. Всех уклонившихся от развода, кого удавалось выловить, сгоняли к вахте, строили по пятеркам в колонну, назначали бригадира и под конвоем отправляли в забой. Таких ежедневно набиралось несколько десятков человек, в основном одних и тех же.

Были среди них всякие: и симулянты, и жулики, и действительно больные, но в большинстве своем это были слабые, полубольные, дистрофичные люди, потерявшие надежду выжить, поставившие на себе крест, плывшие, не сопротивляясь, по течению жизни, вернее... доплывавшие — «лебеди», так их ласково нарекли лагерные остроумцы. На «Глухарь» их ссылали как не нужный никому балласт.

Они безропотно брели к вахте, покорно снося оплеухи и брань старосты или нарядчика, послушно становились в строй в ожидании команды конвоя...

Вот этих-то «гвардейцев» и отдали однажды мне в подчинение, назначив бригадиром над ними.

Всю свою жизнь я избегаю любых начальственных должностей! Отвечать за всех — значит спрашивать с каждого, а это не по мне! Да и что можно было спросить с этих бедолаг, когда пройти пятьсот метров до забоя уже являлось для них подвигом!..

Майское солнышко с каждым днем все больше и больше давало о себе знать... С тающих бортов беспрерывно сочилась и капала талая вода. По подошве забоя бежали, виляя между камнями, крохотные струйки, соединялись, набирали по пути вниз силу, увеличивались... Ушлые, вездесущие лоточники городили в них ловушки для золота: весенняя распутица превратила забои в сплошное месиво раскисшей глины. Моей бригаде поручено было следить за тем, чтобы паводковые и сточные воды,

стекавшие в забой, не мешали работе забойщиков, особенно тех, кто гонял тачки на транспортер. Выстроив своих «орлов» вдоль забоя в нескольких метрах друг от друга, я вложил в руки каждого инструмент (лом или лопату) и приказал долбить отводную канавку-русло для сточных вод... Вместе со всеми и сам встал в строй...

Некоторое время спустя, взглянув вдоль шеренги, я обнаружил, что те, кого я поставил в строй первыми, не работают, а сидят, обняв инструмент, там, где первоначально их поставил... Я поднимал первых — садились последние... Я бежал к тем — садились эти!.. И так без конца! Как маятник мотался я вдоль строя, от одних к другим... И смех и грех!.. В конце концов понял, что заставить моих добрых молодцев работать даже господь бог не сможет... Плюнул на все, «наживил» каждого бедолагу — подпер для прочности под грудки ломом или лопатой, чтобы снова не валялись в мокром забое, а сам выбросил белый флаг, сдался, капитулировал...

Тут-то «моя судьба» и напомнила о себе снова: на «Глухаре» появился Николай Иванович.

Он шел по борту забоя, вдоль шеренги моих «гвардейцев», и с каким-то детским изумлением и обидой старался понять, что происходит перед его глазами. Его сопровождали Габдракипов и еще несколько чинов приискового начальства...

А зрелище было действительно жутким и смешным одновременно! Вдоль забоя, подпертые кто ломом, кто лопатой, в «петрушечных» позах огородных пугал застыли в «приветственном почетном карауле» несколько десятков зеков! Вся их «вина» перед начальством заключалась в том, что они оставили свое здоровье в забое раньше, чем кончился срок их заключения.

— Это что за цирк?! Кто придумал? Откуда эти гренадеры, где бригадир?

Я вылез из забоя наверх и предстал пред светлые очи высокого начальства. Начальство сделало вид, что незнакомо со мной.

— Почему люди не работают?— Он мотнул головой в сторону забоя.

— Вы, гражданин начальник, лучше спросите, почему они не стоят на ногах?— вопросом на вопрос, как можно спокойнее, ответил я ему.

— А может, бригадир плох? Может быть, выгнать его следует?

— Может быть! Вы начальство — вам виднее.

По его лицу было видно, что он не забыл еще нашу первомайскую встречу. Не забыл ее и я.

— Марш в забой! И чтобы люди работали.— По тону, каким это было сказано, я понял, что сегодняшним днем мое бригадирство и закончится. Так оно и оказалось... На следующий день я снова гонял тачку.

Моя ссылка на «Глухарь» произошла скорее в результате стечения несчастных для меня обстоятельств, нежели явилась следствием моего поведения. Понимая это, Сергей Халилович упорно игнорировал указания Лебедева держать меня на общих работах в забое и по возможности облегчал мне жизнь, посылая на легкие, вспомогательные работы...

Так и на этот раз: стоило Николаю Ивановичу вернуться на прииск имени Тимошенко, и я был переведен на другую работу — дежурным на транспортере. В мои обязанности входило: утром запустить транспортерную ленту (включить рубильник), вечером остановить (выключить рубильник). В этой должности я просуществовал еще около месяца — до очередного визита Лебедева на «Глухарь».

На этот раз он появился вместе с уполномоченным в связи со случаем саморубства.

В бригаду, работавшую неподалеку от меня, в обеденный перерыв принесли хлеб. Раздачей руководил бригадир. Он же и определял, кому какая пайка причитается... Один из его работяг, мелкий вор, «юрок» (татарин), обиделся, посчитал себя обделенным, стал кричать: «Пачиму русский фамилием шиссот грамм, а мой нацменский фамилием читириста грамм, пачиму?»

Не встретив к себе сочувствия в бригаде, психанул: положил руку на трап и трахнул по ней топором — отрубил себе четыре пальца!..

С окровавленной культей его утащили в зону, в санчасть... Кончив обед, бригада ушла работать, а пальцы так и остались на трапе, почти не кровоточащие, отдельно от руки — неправдоподобно огромные...

С саморубами не церемонились. Никаких освобождений от работы не давали. В санчасти останавливали кровь и тут же выгоняли в забой. После смены сажали в карцер. Оперуполомоченный заводил уголовное

дело: контрреволюционный саботаж! Минимальный срок — десять лет! Чтобы неповадно было другим.

На «Глухаре» появились артисты. Собственно, не артисты, а музыканты — джаз. В каждом горнопромышленном управлении Дальстроя по линии УСВИТЛа существовали эстрадно-театральные культбригады заключенных-артистов (и профессионалов, и любителей), обслуживающие лагеря патриотическими концертами. Цель этих мероприятий обычная — поднять моральный дух заключенных, повысить их трудовой энтузиазм.

«Хлеба и зрелищ!» — требовали граждане Древнего Рима. На этих же принципах строились отношения и нашего начальства со своими «гражданами»... Только заключенные «Глухаря» были скромнее своих римских коллег: они не претендовали на удовлетворение духовных потребностей, им было не до зрелищ, они просили хлеба.

Но Николай Иванович действовал, исходя из собственных возможностей: увеличивать хлебную норму штрафного прииска было не в его власти, зато артистов у него оказалось навалом — целая бригада, любой жанр на любой вкус!.. Вот он и решил поделиться духовной пищей со штрафниками «Глухаря». Они так же, кстати, выполняли план в эти дни, как и все остальные участки прииска.

У нас сделалось традицией за всякого рода несбыточные посулы и обещания материального порядка расплачиваться артистами... Просто и дешево! Искусство с доставкой на дом, как пиво,— «распивочно и на вынос»...

Когда мы избавимся от привычки дефицит внимания к иуждам людей компенсировать за счет искусства? Когда кинематограф перестанет расходовать таланты на бессмысленные потуги превратить сложную, горькую быль страны в лакированную, цветиую, красивую и пошлую сказку? Когда театры перестанут врать, теряя последних зрителей?.. Когда станут дискуссионными трибунами своего времени?.. Глашатаями истинной культуры? Артисты превратились в работников «средств массовой агитации». Стали разменной монетой! Ими расплачиваются (благо дешево) за глупость, бесхозяйственность, за посулы и обещания, за беспринципность...

«Духовной пищей» массовой культуры закормили

всю страну — от Тихого океана до Балтики... С севера на юг, с востока на запад летят, плывут, едут в поездах, автомобилях, в собачьих и оленьих упряжках, а то и пешедралом («из Керчи в Вологду») армии «саранчи» — пропагандистов антимузыки, «разбойных» рок-групп, орущих дурными, нерусскими голосами... Собирать контрибуцию с населения спешат гастролеры-одиночки, ансамбли, концерты, «звезды» на коньках и без них... Театры мод, балет на льду и прочие представители «массовой культуры», так любовно пестуемые работниками ЦК ВЛКСМ.

И все это пропагандируется и рекламируется по телевидению, по радио. Старается не отстать и кинематограф, создавая время от времени свои «шедевры»... Бедная Россия! Дорого же ей обходятся некомпетентные лидеры...

Николай Иванович был убежден, что забойщикам будет веселее и легче гонять тачки под бодрые звуки джаза.

Работяги с хмурым вниманием следили за идущими вдоль забоя музыкантами. Облюбовав подходящую каменистую полянку вблизи забоя, они расположились на ней, разобрали инструменты, настроились и, не дожидаясь обеденного перерыва, заиграли...

Чистенькие, одетые в специально сшитые одинаковые костюмчики из американской альпаговой ткани цвета «хаки», со свежими умытыми лицами, выбритые, при галстуках... Ну, прямо ангелы в преисподней, не иначе! Их вид, сверкающий на солнце никель инструментов, руслановские «Ва-ле-нки», «Барон фон дер Пшик», в упругих звуках джаза попавший на «русский штык»,— все это не вязалось с угрюмыми, изможденными, потными лицами забойщиков, в грязном сером тряпье копошившихся в мокрой глине оттаявшей породы под присмотром вооруженного конвоя...

Весь этот балаган с джазом казался издевательством, кощунством, пошлостью... Не меньшей, чем визит какой-нибудь знатной благотворительной особы во фронтовой госпиталь, переполненный безрукими и безногими солдатами...

Танцевальные ритмы веселого джаза неслись по распадку, смешиваясь с грохотом буторных приборов, с лязгом и скрежетом транспортерной ленты... «Одессит Мишка», размноженный горным эхо, «не теряя бод-

рость духа», затихал где-то далеко в сопках, у перевала...

Музыканты в этом представлении не виноваты: они народ подневольный. Но, в отличие от большинства зеков, им повезло,— они избежали забоя. Умный за них порадуется, дурак позавидует. В обеденный перерыв меня потребовали к начальству. Когда я вошел к нему, начальник, указав на дверь соседней комнаты, сказал:

— Там сидит главный артист, ихний руководитель. Я говорил ему о тебе. Ступай, он ждет!

Еще в 1939 году, в пересыльном лагере Владивостока, где формируются этапы на Колыму, говорили, что в Магадане есть театр, в котором вместе с вольнонаемными артистами работают и заключенные. Правда, с пятьдесят восьмой статьей туда не брали, не положено. Да и боялись: на дай бог еще используют сцену как трибуну для вражеской пропаганды! Но все же исключения бывали, и довольно часто.

Оказавшись на Колыме, я много раз обращался в КВЧ МАГЛАГа с просьбой направить работать по специальности, в театр или культбригаду. Ни ответа ни привета на свои заявления я не получал. Или их уничтожали тут же, никуда не отсылая, или они пропадали где-то в пути, а скорее всего время от времени ими топили печи в самом МАГЛАГе.

И вот сейчас я стою перед дверью, за которой ждет меня человек, руководитель культбригады, от свидания с которым, может быть, зависит моя дальнейшая судьба!..

Поразительный человек мой доброжелатель: ему бы воспитателем быть в детском доме, а не начальником лагеря! И не просто лагеря, а лагеря штрафного, где содержатся самые что ни есть подонки уголовного мира... Офицер карающих органов?! Большего несоответствия между занимаемой должностью и самим человеком я не встречал, кажется!.. Белая ворона в стае воронья! «Луч солнца в темном царстве» колымских лагерей!.. Добросердечный, мягкий... решительно неспособный распоряжаться судьбами других людей, наказывать, командовать,— повезло зекам «Глухаря» с начальником!..

Я вошел в комнату и поздоровался. В ответ мне протянул руку светлоглазый человек лет сорока и назвал себя. С этой минуты и началось мое знакомство с Константином Александровичем Никаноровым — артистом, режиссером, хорошим человеком!.. Знакомство, пере-

росшее позже в дружбу, длившуюся все последующие годы заключения на Колыме, ссылки на Таймыре, в Норильске и потом, после нашей реабилитации, вплоть до его смерти в конце пятидесятых годов.

Вот как он сам вспомииал наше первое знакомство тогда на прииске: «В этот день, когда джаз вдохновлял ваших забойщиков, ко мне подошел начальник «Глухаря» и сказал, что в лагере у него находится заключенный, по документам артист, очень просит встретиться и поговорить с ним, уверяет, что снимался в кино в Ленинграде. Он проводил меня в помещение конторы лагеря и попросил подождать...

Когда ты вошел, я сразу же подумал: «Вот он, настоящий Васька Пепел, передо мной!..» Больше всего меня поразили твои глаза!.. На дубленом от мороза и непогоды, загорелом лице глаза! Сейчас они светились надеждой!.. Лучились пронзительной синью!.. «Нестеровские», мученические, напряженные и внимательные, отчаянные глаза!..

Чтобы скрыть внезапно подступивший к горлу комок, я стал задавать вопросы, спросил, кто ты, откуда, где учился, работал ли в театре...

Пока ты отвечал, я присматривался к тебе: сухощавое, недокормленное, как у борзой собаки, мускулистое тело... Сильные, натруженные в забое руки, в ссадинах и вечных цыпках.. Какой там к черту артист — Васька Пепел стоял передо мной, и никто другой! Васька Пепел — вор и бандит!

Мне захотелось послушать тебя, чтобы понять, что ты представляешь собой, что ты умеешь, и я попросил прочесть мне что-нибудь наизусть.

— Стихи или прозу?— спросил ты.

Я подумал и ответил:

— Лучше прозу.— Мне показалось, что стихи в этой атмосфере прозвучат особенно нелепо.

Ты долго молчал, то ли сосредоточиваясь, то ли вспоминая слова, и без предисловия начал:

— «Ясный зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе...»

Я был поражен. Смотрел на тебя и думал: «Как сумел этот похожий на бандита молодой парень, несмотря на годы жестоких испытаний в сталинских тюрьмах

и лагерях и здесь, в этой штрафной «преисподней», сохранить не только жизнь, но и себя как человека, остаться цельным, уберечь свое сердце от черствости, не дать ему заржаветь в постоянной борьбе за физическое существование на земле?! Как он сумел сберечь в душе своей и памяти одно из самых изящных н грациозных «стихотворений в прозе»— изысканнейший рассказ Антона Павловича Чехова «Шуточка»...

— «...Опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Наденька!..»

Опять подступил ком к горлу, и, чтобы не расплакаться и не ввести тем самым в заблуждение относительно причины моей взволнованности (ты мог принять ее на счет своих исполнительских талантов), что было бы неправдой, я остановил тебе, поблагодарил и заверил, что, как только вернусь с бригадой в Усть-Омчуг, непременно доложу о тебе начальству культурно-воспитательного отдела Тенькинских лагерей. Передам твое желание быть в культбригаде и свое (весьма положительное) о тебе впечатление.

Обед закончился. Звук железяки позвал тебя к вахте, на развод, и ты ушел...

А я еще долго не мог прийти в себя после твоего ухода. Я поклялся самому себе сделать все возможное и невозможное, но во что бы то ни стало вырвать тебя с «Глухаря», пока не поздно! Ведь силы твои небесконечны. К сожалению, от меня мало что зависело,— решать будет начальство, но тогда я был убежден, что мне удастся помочь тебе».

* * *

В лагере обнаружилась крупная недостача хлеба. Испугавшись ответственности и самосуда заключенных, хлеборез сбежал.

Хватились его только перед обедом, когда дневальные пришлн получать пайки для своих бригад. Хлеборезка оказалась запертой на все замкн. Самого хозяина нигде в лагере не нашли. Подняли тревогу...

С комендантского лагпункта примчался встревоженный Николай Иванович Лебедев. Взломали замки — пусто! Хлеб на сегодня получен не был. Некормленый лагерь бурлил.

Обозлеиные, согианные к вахте работяги отказывались покидать зону, требовали законную пайку.

С крыльца вахты, как с трибуны, Николай Иванович призывал работяг соблюдать порядок, не паниковать... Угрожал, уговаривал потерпеть, обещал, как только поднесут хлеб с пекарни, немедленно отправить его в забой для раздачи.

Пекарня находилась в пяти километрах от «Глухаря» на прииске Тимошенко.

Кое-как ему удалось утихомирить работяг, уговорить построиться. Одну за другой конвой принимал бригады и выводил из лагеря за вахту.

Меня вывели из строя и потребовали к начальнику.

Едва я переступил порог кабинета Габдракипова, «моя судьба», находившийся там, встретил приказом:

— Принять хлеборезку! Будет порядок?

Похоже, настал и мой «звездный час»! Начальник, кажется, сменил наконец гнев на милость.

По его лицу я понял, что мою кандидатуру они обсудили и утвердили сообща с Габдракиповым.

Как объяснить им, что перспектива стать хлеборезом мне ни с какой стороны не улыбается... Как объяснить им это?

— Спасибо за доверие, гражданин начальник, но через неделю кончается срок моего заключения — я освобождаюсь!— Я ударился в дипломатию.

Действительно, 5 июля 1943 года истекал пятилетний срок, вынесенный мне заочно Особым совещанием. Мне интересно было знать, как отнесется к этому Лебедев? Но «на челе его высоком не отразилось ничего...» Он, как и я, прекрасно знал, что никакого освобождения не последует, а состоится лишь «спектакль» на тему освобождения. Не последнюю роль сыграет в нем и мой дорогой начальник.

5 июля, на очередное представление комедии под названием: «На-кось, выкуси!» (автор — Иосиф Сталин, в содружестве с Берией Л., Ежовым Н. и др.), разыгрываемой чуть ли не каждый день у письменного стола УРЧ лагеря, буду приглашен и я.

«Моя судьба» попросит меня сесть, неторопливо вытащит из ящика стола важную бумагу с государственным гербом, увенчанным буквами: «СССР, СССР, СССР», и зачитает: «Такой-то (имярек), отбыл срок наказания, подлежит освобождению из исправительно-трудовых лаге-

рей, о чем и уведомляется». Под бумагой следуют несколько факсимиле подписей известных всей стране государственных деятелей, олицетворяющих Советскую власть, партию и органы безопасности.

Пока я ставлю подпись под документом и благодарю за освобождение, «моя судьба» вытаскивает другую не менее важную бумагу, с тем же гербом, в виньетке тех же букв: «СССР, СССР, СССР», и зачитывает: «Такой-то (имярек) задерживается в исправительно-трудовых лагерях в качестве заключенного до окончания Великой Отечественной войны». Под бумагой следуют подписи тех же государственных мужей, ныне известных всей стране и как государственные преступники.

— Почему вы молчите, гражданин начальник? Вы не верите, что меня освободят? Говорите, не молчите.

Он с иронией посмотрел на меня.

— Твое освобождение от меня не зависит, ты же знаешь!..

— Я знаю. Но кого назначить хлеборезом — зависит от вас.

— Вот я и назначаю тебя.

— Но я никогда этим делом не занимался и не хочу заниматься. Честно говоря — все хлеборезы жулики!

— Я не спрашиваю тебя, хочешь или нет! Я приказываю.

— Приказываете стать жуликом? Неужели нельзя найти другого кого-нибудь?

— Кого? Не видишь, кто в лагере находится?

— Вижу.

Я посмотрел на Габдракипова, в надежде найти у него понимание.

— Соглашайся, Жженов! Прошу тебя,— сказал Габдракипов.

— Влипну я с этим хлебом, гражданин начальник!— упорствовал я.— Не умею я торговать, поверьте... Мало вам одного растратчика, что ли?

— Как только найду подходящего человека — заменю. Но сейчас такого нет!..— Лебедев перешел с начальственного тона на простой, человеческий.— Нельзя дальше держать лагерь голодным. Не видишь, что делается? Меня интересует, будет ли порядок?

Он замолчал, как бы раздумывая, стоит ли сказать мне еще что-то, и, решив, что стоит, неожиданно выпалил:

— Запрос на тебя пришел из Усть-Омчуга. Так что не советую ссориться со мной, артист!..

— Это серьезно, гражданин начальник?.. Вы не шутите? Из культбригады, да?— обрадовался я.

— Не шучу. Так что, будет порядок?

Он точно рассчитал, чем можно сломить мое сопротивление.

— Обещаю, что «комбинаций» с хлебом не будет. А будет ли порядок, не знаю, не уверен. В этом деле я младенец, учтите это.

— Ладно, учту. Иди принимай хлеб и торгуй, младенец.

Вот так я стал хлеборезом.

Получил место, за которое другие дрались, интриговали и давали взятки... Не меньше, чем теперь дают за место в пивном ларьке или на бензоколонке.

Получил место, позволяющее извлекать при желании личную выгоду, стать чуть ли не самым влиятельным придурком — единоличным распорядителем основного жизненного продукта — хлеба!

Хлеб — валюта! Единственная в условиях штрафного лагеря. Даже золото отошло на второй план.

На «Глухаре» можно было иметь кучу золота в кармане и в то же время оставаться голодным! Его некуда было деть.

В обычном лагере работяги ухитрялись передавать золото «вольняшкам». Те сдавали его в золотую кассу по нормальной, установленной государственной цене, а с зеками расплачивались хлебом, продуктами... И тех и других это устраивало. И «вольняшки» зарабатывали и зеки подкармливались!..

На «Глухаре» вольнонаемных не было, а нести золото начальству не имело смысла. Никаких дополнительных продуктов штрафному лагерю не полагалось. Как бы хорошо лагерь ни работал, как бы ни перевыполнял план — больше штрафной пайки не получишь!

Возможностей расплатиться за добытое сверх нормы золото у начальника не было. Его личный премиальный фонд был настолько мал, что практического значения не имел. Выходило, что кроме доброго слова ничего у Габдракипова не было. Одним же добрым словом, как известно, сыт не будешь!..

Зато хлеборез в этой ситуации вырастал в могущест-

венного хищника, перед которым лебезили и пресмыкались сотни доведенных до отчаяния зеков.

Объединившись с другими придурками (старостой, нарядчиком, завхозом, поваром), они превращались в стаю хищников.

В союзе с этими вельможными подонками царствовали и несколько отпетых бандитов —«королей» уголовного мира, узурпировавших власть.

Связанная круговой порукой, эта шайка мерзавцев держала в своих руках всех! Не составляло исключение и начальство лагеря — этих приручали взяткой.

Любое сопротивление подавлялось в зародыше. С особенно строптивыми и правдолюбцами расправлялись жестоко, вплоть до убийства, чтобы неповадно были другим. Суд вершили руками «шестерок»— рядовых жуликов, и за страх и за совесть преданных своим главарям.

С одним из главарей мне довелось познакомиться чуть ли не сразу же после прибытия на «Глухарь».

— Тебя хочет видеть дядя Паша!— сказал мне один из блатных, с которым я сидел в карцере.

— Зачем я ему понадобился?

— Он сам тебе скажет. Пошли.

Не пойти было нельзя. Ослушников дядя Паша не любил и строго наказывал.

О дяде Паше —«крестном отце» блатного мира Омчагских лагерей — ходили легенды. Я слышал о нем еще на транзитке во Владивостоке, в ожидании этапа на Колыму... Оказывается, и до него добрался Лебедев, и его упек на штрафной «Глухарь»!.. Ну и молодец Николай Иваиович!

В бараке, куда мы пришли, жили придурки и прочие привилегированные зеки, не занятые на грязных физических работах в забое... Здесь было тихо, чисто. Сюда редко заглядывало начальство.

Тут, в самом дальнем углу, и располагался упырь дядя Паша.

Тихий, чахоточного вида «пахан» лет пятидесяти пяти мирно сидел на одеялах, разостланных на нарах, и потягивал из алюминиевой кружки «чифирок». За его спиной знакомая компания блатных, недавно вместе со мной отбывавшая десять суток карцера, резалась в карты, в «коротенькую»...

Вот, значит, какой он, знаменитый «дядя Паша»!.. Вор «в законе», один из немногих, оставшихся еще в живых на Колыме, «королей». Верховный судья и проку-

рор всех блатных, «качавших права» друг с другом...

Я поздоровался.

Дядя Паша зацепился за меня колючим, как репей, взглядом. Далеко запрятанные за лохматыми короткими бровями острые глазки изучали меня.

— Доброго здоровьичка, милок!.. Доброго здоровьичка... Присаживайся.— Он приветливо закивал головой, не спуская с меня нацеленных глаз.

Я примостился на краешке соседних нар рядом с ним.

— Слышал, что ты артист, милок, да?

Я утвердительно кивнул головой, не понимая, к чему он клонит.

— Мы тоже артисты!— Дядя Паша улыбнулся, обнажив частокол нержавеющих зубов.— Артисты-рецидивисты!

Блатные засмеялись. Он поставил в сторону кружку, вытащил из-под матраца четвертушку бумаги, развернул ее, спросил:

— Рисовать можешь?

— Честно сказать — совсем не умею.

— Честно, милок, только честно и никак иначе — нечестных не люблю!.. Врать будешь начальнику, понял меня?

От его тихого, елейного тона стало не по себе, по спине побежали мурашки...

— Вы все вокруг да около, дядя Паша. Говорите, зачем вызвали?— сказал я.

— «Не спеши в Лепеши, в Сандырях ночевать будешь!»— Дядя Паша любил, видно, присказки.— Дай сперва наглядеться на тебя, милок... Должен же я понять, с кем имею дело? Значит, говоришь, в гараже РЭКСа диспетчером работал?

— Да.

— Так, ладно, милок...— Дядя Паша положил на одеяло листок бумаги, тщательно разгладил его и сказал:— Смотри сюда. Узнаешь?

На бумаге карандашом был набросан какой-то план. Прямоугольники, квадраты, помеченные разными буквами и цифрами, обозначали какие-то строения, что ли?.. Какие-то линии...

— Что это, не понимаю?

— План РЭКСа, где ты работал. Не так что-нибудь?

Я внимательно вгляделся в бумагу.

— Все не так!— сказал я.

— Да? Обожди-ка...

Дядя Паша полез в изголовье, достал чистую бумагу. Завернув угол матраца, расстелил бумагу на нарах, дал мне в руки карандаш и приказал:

— Рисуй по-своему. Только честно, милок, как есть, понял?

— Чего рисовать-то?

— Все! Укажи, где контора, где магазин, склад, гараж, где «хавира» завхоза... Рисуй, я подскажу.

Я подчинился. Ничего другого мне и не оставалось. Шутить с дядей Пашей в этих обстоятельствах не следовало. Тем более что смысл происходящего постепенно становился ясен.

Пока я чертил, он внимательно наблюдал, вникал в каждую мелочь, задавал вопросы, требовал подробностей...

Когда я закончил, дядя Паша похвалил меня:

— А говорил, не умеешь рисовать?! Все получилось в лучшем виде... Налейте артисту «чифирку», что ли!— он повернулся к блатным.— Еще несколько вопросов, милок!

Мне передали кружку с «чифиром». Дядя Паша продолжал:

— Ты магазинщика знаешь?

— Да.

— А завхоза?

— И завхоза знаю.

— Перерыв на обед в магазине бывает?

— А как же!

— Каждый день?

— Да. С часу до двух.

— Магазинщик обедает у себя?

— Нет. У завхоза.

— Всегда?

— Всегда.

— Магазин в это время закрыт?

— Да.

— Долго они обедают?

— Не меньше часу, а то и больше. Они ведь поддают за обедом. Магазинщик после обеда почти всегда веселенький...

— Так. Ладно, милок, все. Спасибо. Канай в барак. Спи.

Неделю спустя на «Глухаре» стало известно, что в

РЭКСе во время обеденного перерыва был начисто ограблен магазин.

А еще через пару дней, после вечерней поверки, ко мне подошел незнакомый зек, сунул в руки небольшой узелок и сказал:

— От дяди Паши.

В узелке лежали несколько больших кусков колотого сахара. Моя доля!

* * *

Как говорится, первый блин комом! Не пробыв в должности хлебореза и недели, я понял, что взялся не за свое дело. В первые же сутки я оставил без законной пайки человек пятнадцать, в том числе и себя... Проторговался начисто.

Слава богу, недостачу начальство простило. Списало иа счет моей неопытиости. Начальник лагеря вынужден был пожертвовать свой личный премиальный фонд. Спасибо, конечно, что поняли, вошли в положеиие, но дальше-то как? Тем более та же картина повторилась в последующие дни. Я был в панике.

Срочно надо было предпринимать что-то... Но что?

Перво-наперво я проверил всю цепочку, начиная с получеиия хлеба на пекарне и кончая выдачей хлеба в виде взвешенной пайки из хлеборезки лагеря.

Оказалось, что потери начинались уже на самой пекарие, где хлеб, как правило, взвешивался и отпускался горячим (пекарня не справлялась с выпечкой). Остывая, ои, естествеино, терял вес.

Учитывать это никто не хотел, и меньше всего сам заведующий пекарней — широкомордый деляга, получивший срок за какие-то спекулятивные махинации на воле.

Я пытался заговорить с ним о своей проблеме с хлебом, но он не стал меня даже слушать. По-моему, он поставил целью изжить меня вовсе. Чем-то я не устраивал его с первого появлеиия в этой должности. Видимо, я не подходил под его мерку представлений о «настоящем» хлеборезе, с которым можно иметь дело. Поэтому о нужном мне позарез хлебе разговаривать с ним было бесполезно. Впору было следить за ним, чтобы не обвесил...

Хлеб воровали на пекарне. Воровали в пути, те,

кто нес его в мешках в лагерь. Воровали оба мои помощника в хлеборезке, пока разделывали на пайки...

Отчаянные воровали прямо из-под ножа. Улучив момент, хватали хлеб через раздаточное окно прямо с весов, рискуя. Сгоряча я мог хватануть ножом, отрубить руку. Отнять уворованную пайку никогда не удавалось, я всегда опаздывал. За время, пока я выскакивал из хлеборезки и догонял укравшего, он ухитрялся проглотить пайку не разжевывая. Никакие угрозы, никакие уговоры не действовали. Голодный человек способен на все.

Я кричу: «Руку отрублю!» Мне на это отвечают:— «Ну и х... с ней, с рукой!.. Я есть хочу!..»

Так было до меня, и так будет после меня! Так будет всегда, пока существует штрафной лагерь «Глухарь», где волки и овцы согнаны в один общий загон, где царствует произвол, где торжествует беззаконие и подлость!

Хлеборезку много раз пытались взломать... Сворачивали замки, подпиливали, подкапывали... Устраивали на меня покушения, чтобы завладеть ключами. Без двух ножей за голенищами сапог я не рисковал ходить даже в уборную, боясь неожиданного нападения.

Но не будь всего этого, ничего не изменилось бы... Хлеба не хватало!

А то дополнительное количество хлеба, полагающееся на «усушку и утруску», и наполовину не покрывало практических его потерь при транспортировке, расфасовке и прочих непредвиденных, но обязательных тратах.

И если даже хлеборез — человек честный (что маловероятно), не обманывает, не ловчит, не обвешивает полуголодных работяг, прилепляя «грузики» под чашку весов, как это практикует большинство,— хлеба не хватит! Дебет с кредитом не сойдется. Нужда в дополнительном хлебе останется.

Недавно мне довелось познакомиться с неким документом, из которого явствует, что современный лагерный хлеборез не только не озабочен хронической нехваткой хлеба, а, наоборот, чуть ли не ежедневно десятками килограммов сдает начальству лишний, сэкономленный. И вместо того, чтобы быть судимым за эти «художества», его же еще и представляют к условно-досрочному освобождению! Как инициатора движения: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб — драгоценность, его береги».

Вот этот документ:

«Сообщаю вам, что гражданин Н. Н. находится в учреждении №... под г. Ярославлем.

С первых же дней заключения показал себя человеком, осознавшим свою вину и благотворно действующим на окружающих его заключенных.

Является руководителем группы полнтинформаторов. Его сообщения всегда содержательны и интересны.

Гр-н Н. Н.— непременный участник всех концертов самодеятельности в качестве чтеца-конферансье.

На своей основной работе — хлебореза в столовой — явился инициатором движения: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб — драгоценность, его береги». За последний год сэкономлено ... кг хлеба.

Характеристика нужна для условно-досрочного освобождения.

Нач. учрежд. № ... (подпись)».

Бумага эта была прислана в адрес месткома театра. В ней предлагалось присоединиться к характеристике, даниой учреждением № ... человеку, до заключения работавшему в театре администратором и осужденному за преступные махинации с антиквариатом и валютой.

Наличие прорезавшихся талантов «политинформатора» и «чтеца-конферансье», обнаруженных лагерным начальством в этом человеке, явилось для меня настолько удивительным и неправдоподобным, что не позволило с достаточной серьезностью и доверием отнестись к остальным положениям этого канцелярского творения и подписаться под характеристикой.

А уж пункт: хлеборез «явился иннциатором движения...»— и вовсе из области шедевров последней страницы «Литературной газеты».

Конечно, времена изменились к лучшему, и лагеря уже, наверное, не те, что сорок лет назад, дай-то бог!.. Но вот формализм, щедрость и доброта начальства на характеристики, пахнущие откровенной «липой», никуда, видно, не делись, цветут по-прежнему.

Мой знакомый хлеборез из «политинформаторов», не отсидев положенного срока, с помощью друзей и добренького на характеристики лагерного начальства, условно-досрочно освобожден, по-прежнему живет в Москве и благополучно администрнрует в одном из областных театров. Не будет ничего удивительного, если скоро снова окажется в академическом театре,— с такой характеристикой впору в партии восстанавливаться.

Не знаю, удалось ли бы мне избежать участи большинства хлеборезов — встать на путь обмана, заделаться в конце концов жуликом,— если бы не случайность... Счастливый случай, давший возможность иметь лишний хлеб и тем самым сдержать данную себе клятву никого ни на грамм не обвешивать.

В хлебе под верхней коркой обнаружилась крыса... Распластанная по всей буханке, запеченная крыса, размером с сиамскую кошку.

Радости моей не было предела. Ура!.. О такой удаче я и не мечтал... Выход найден!

Перво-наперво, в присутствии Габдракипова и коменданта, был составлен соответствующий акт, после чего, запихнув буханку с «кошкой» в мешок, я помчался на пекарню.

Мордатый был в своем закутке на пекарне один. Я вытащил из мешка буханку, сунул ему под нос и приподнял верхнюю корку...

— Смотри сюда, падла!— сказал я ему.— Этот «пушной зверь» продается. Условия божеские: двадцать килограмм хлеба ежедневно, в течение месяца. Понял?.. Если устраивает — забирай «зверя», он твой! Если нет — несу эту «кулебяку» Лебедеву! Он с тебя, сука, шкуру сдерет. Ну?.. Решай! Быстро!

В течение нескольких минут «сиамская крыса» была продана. Мордатый даже не торговался. Он понимал, чем это грозит ему, окажись крыса у Лебедева.

Ситуация с хлебом рассосалась, по крайней мере на целый месяц.

Для страховки на гвозде в хлеборезке висел акт, на случай возможного вероломства со стороны Мордатого.

На этот же гвоздь, наряду с разными документами, я накалывал для отчета и письменные распоряжения самого Габдракипова о выдаче дополнительного хлеба тому или иному зеку.

Формулировал он свои указания весьма странно: «Товарищ Жженов, прошу, если можешь, отпусти бригадиру такому-то столько-то кг хлеба. Сегодня его бригада хорошо работала. Габдракипов».

И сколько бы я ни просил его писать свои записки иначе, без компрометирующих его самого слов «товарищ», «прошу», «если можешь»,— писать в приказной форме, как обычно и поступает начальство, давая письменное

распоряжение заключенному, Габдракипов меня не слушал.

— В приказном порядке я могу распоряжаться своим фондом,— говорил он.— А распоряжаться хлебом, который мне не принадлежит, я не имею права. Поэтому не приказываю, а прошу.

На случай внезапной проверки, из осторожности, я уничтожил следы его деликатности.

Не знаю, чем бы закончилась в конце концов моя ссылка на «Глухарь», не заболей я желтухой... Как говорится, «не было бы счастья — да несчастье помогло!».

Желтуха — болезнь заразная. Необходимо было срочно принимать меры.

Я держался на ногах из последних сил, не рискуя оставить хлеборезку без присмотра. Ходил злой, с температурой и головной болью. Желтый, как тухлое яйцо... Габдракипов позвонил Лебедеву.

Когда тот явился, я пришел в контору, где оба они находились, вытащил из-за голенищ ножи, с которыми в последнее время не расставался ни на минуту, достал ключи от хлеборезки, выложил все это на стол и сказал:

— Гражданин начальник! Забирайте своих солдатиков, больше в эту игру я не играю!.. Что хотите делайте со мной, сажайте в карцер, заводите новое дело, отправляйте в забой... Куда хотите, но хлеборезом не буду!.. Не могу больше, хватит!.. Не умею!.. Не хочу быть жуликом.

«Моя судьба» мрачно и раздумчиво молчал. Молчал Габдракипов. Молчал и я, понимая, что сейчас решается моя судьба, а может быть, и вся жизнь...

Нарушил молчание Лебедев:

— До прииска Тимошенко дойти сможешь?

— Попробую... Под гору ведь!

— Тогда марш в барак и собирайся. Через час жду на вахте.

Наконец-то! Прощай, «Глухарь»— век бы мне тебя больше не видеть!.. Прощайте и Вы, Сергей Халилович Габдракипов — уважаемый человек! Спасибо Вам за все, что Вы сделали для меня! Спасибо за Вашу доброту и человеческую порядочность.

Несколько дней я провалялся в санитарном изоляторе лагеря на прииске Тимошенко. Когда болезнь отступила и мне стало полегче, Николай Иванович вызвал

конвоира, вручил ему мое личное дело и с попутной машиной отправил меня в Усть-Омчуг — в артисты! Одарив на прощание пачкой махорки.

* * *

Константина Александровича Никанорова уже не было в культбригаде, его отозвали в Магадан, в театр.

Я огорчился: все-таки легче начинать новую жизнь, когда рядом находится доброжелательный к тебе человек...

Страшновато мне было еще и потому, что тенькинская культбригада, куда меня с «почетом» доставили, являлась первой эстрадной труппой, с которой начиналась моя сценическая жизнь. Никакого опыта работы в театре или на эстраде у меня не было.

Правда, в 1938 году я сделал попытку поступить в театр — показывался Макарьеву Леониду Федоровичу в Ленинградском театре юного зрителя и был принят (читал «Шуточку»), но судьба тогда распорядилась иначе: через несколько месяцев, еще не начав работать в театре, я был арестован.

И вот снова чеховская «Шуточка» вмешалась в мою жизнь...

Комендантский лагпункт, куда меня привезли, чистенький, ухоженный, напоминал летний лагерь любой воинской части, с выбеленными известью стенами бараков...

От центра (места поверок и разводов) к баракам разбегались, наподобие солнечных лучей, утрамбованные щебенкой аккуратные дорожки, ограниченные с боков пунктиром прикопанного, крашенного под кирпич камня.

В бараке, где жили артисты, чисто, просторно, нары одноэтажные... Бачок с кипяченой водой и кружкой, половички на полу, простыни... И это после «Глухаря»— невероятно!.. Такое чувство, будто попал в рай!

Память вернула в прошлое. Высветила воспоминание.

Камера на Шпалерке... Утро. Нас — двое. Мой сокамерник сидит на откидном металлическом стульчике, вделанном в стенку. Сидит спиной к «глазку» (это не полагается). Перед ним на столике раскрытая книга — благодарность его следователя за «хорошее», послушное поведение на допросах (вместо чечевичной похлебки)... В камере холодно — зима. Ноги моего сокамерника укрыты одеялом. Я, как всегда, хожу... Пять шагов от окна к двери,

пять шагов назад — от двери к окну. Привычка, укоренившаяся во мне навсегда. Мы разговариваем. Тема в общем-то одна: что делать?..

Он мучается. Его следователь, убедившись, что подследственный патологически боится физической боли, на каждом допросе требует жертв... Требует называть фамилии новых и новых «сообщников» его контрреволюционной деятельности. Очевидно, следствие сочиняло очередную версию группового преступления по статье 58, через пункт 11.

После каждого возвращения с допроса, мучимый совестью от того, что опять не устоял перед угрозой быть избитым и опять, в который уже раз, смалодушествовал и подарил следователю очередную порцию фамилий ни в чем не виновных людей, большинство из которых по его вине завтра же окажется в тюрьме,— он страдал и мучился...

Проклинал собственное слабоволие, трусость... Давал пустые зароки впредь быть твердым на допросах, искал у меня сочувствия и понимания, плакал, жаловался... У всех, кого только что предал, просил прощения и без конца причитал: «Что делать, что делать?»

Тяжело было видеть все это!

Как-то я сказал, что быть ему судьей не хочу, не имею права, я и сам вел себя на следствии поразному — и бунтовал, и впадал в отчаяние, всякое было... Но всегда это касалось только меня, моей жизни и ничьей больше!.. Его поведение вне моего понимания, поэтому рассчитывать на мое сочувствие не следует. В подобных ситуациях люди на его месте задумываются, стоит ли жить на свете, имея на душе такой великий грех!.. Его никогда и ничем не отмоешь.

Вчера его опять вызывали.

Привели с допроса поздно ночью.

Утром, после подъема, подняв койки к стенам (днем — сидеть и лежать запрещено) и получив через форточку двери по кружке кипятку с пайкой хлеба и порцией сахара, мы позавтракали и занялись каждый своим обычным делом: он устроился у столика с книгой, я отправился в свой маятниковый поход по камере...

Поначалу говорили о чем-то, но постепенно разговор иссяк, он замолчал, склонившись над книгой, видно, задремал.

Я продолжал мерить шагами камеру, занимаясь сочи-

нительством: придумывал рифмы к именам наших высоких истязателей: «Прочел на двери я — Лаврентий Палыч Берия!»...

Это был период консервации — несколько месяцев меня не вызывали на допросы. Нервы были натянуты до предела, как струны, могли вот-вот лопнуть! В эти именно моменты предельного напряжения и возникла острая потребность стихотворчества...

Из задумчивости вывел резкий, нетерпеливый стук ключа об дверь — надзиратель должен видеть все, что делает заключенный! «Запрещается спать с укрытой одеялом головой! Запрещается прислоняться к стене! Запрещается находиться спиной к «глазку».

Стук не прекращался. Продолжая ходить, я сказал:

— Повернитесь!.. Он же не отстанет.

Мой сокамерник не реагировал. «Цирик» стучал все настойчивее.

— Да проснитесь вы, наконец!— Я взял его за плечо и потряс.

Под моей рукой он как-то странно осел, сполз со стульчика и рухнул на пол... У его ног, по цементному полу, растекалась лужа крови!.. И он от пояса до башмаков, и одеяло были густо пропитаны кровью...

В камеру ворвались надзиратель, корпусной... Пришел врач.

С пола подобрали остро заточенную пряжку от брюк, по недосмотру оставшуюся при нем. Ею он и вскрыл себе в паху вены. А чтобы не обнаружили раньше времени и не помешали самоубийству, он проделал это, укрыв ноги одеялом.

Его унесли. Унесли и немногие принадлежавшие ему вещи, в том числе и книгу. Она называлась «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».

Меня заставили замыть кровь на полу. Жизнь продолжалась...

Находиться дальше в этой камере стало невмоготу, сдали нервы, я попросил корпусного перевести меня. К моему удивлению, просьбу удовлетворили.

Меня перевели куда-то вниз, в сырую полутемную камеру, где двадцать четыре часа в сутки в зарешеченном оконце тускло брезжил электрический свет, а в углу пугал по ночам всегда мокрый канализационный стояк...

Однажды я проснулся от ощущения, что кто-то на

меня смотрит. Открыв глаза, я увидел в нескольких сантиметрах от лица морду огромной крысы! Она сидела у меня на груди, на одеяле, и пристально смотрела мне в глаза...

С криком ужаса я поддал крысу вместе с одеялом кверху! Стукнвушись о потолок камеры, она плюхнулась на цемент пола и не торопясь пошла к унитазу, оглядываясь на меня и угрожающе-презрительно «тс-тс-тссыкая»... Взобравшись на унитаз, крыса в последний раз оскалилась в мою сторону и исчезла.

После этой ночи я снова запросился в другую камеру. Мне отказали. Сочли повторную просьбу то ли за блажь с моей стороны, то ли за непонятный злой умысел.

Я потребовал врача. Мне отказали. Тогда я, что называется, психанул: отодрал крышку унитаза и погнул с ее помощью все, что можно было погнуть в камере, включая водопроводные трубы. Я заявил: «Если в течение суток не позовут врача, я разобью себе голову о стену! И мне наплевать, устраивает это их или нет!»

Мой вид, очевидно, произвел впечатление на корпусного — врача ко мне привели в тот же день.

Врач тщательно и со знанием дела, как мне показалось, осмотрел меня. Искрестил мне грудь чем-то металлическим, стукал по суставам молоточком, заглядывал в глаза, расспрашивал. В результате на следующий день я переведен был в... общую камеру! К людям! Там находилось сто с лишним человек! Я встретил знакомых и по тюрьме, и по воле — там была жизнь! Радость моя не знала границ, будто я не из камеры в камеру переведен, а чудом очутился в репинской «Запорожской Сечи».

...Похожее чувство я испытывал и сейчас, пожимая руки и знакомясь со своими новыми товарищами по культбригаде.

Всего нас собрали вместе из разных лагерей Тенькинского управления человек двадцать. Основное ядро бригады составлял джаз-оркестр, имевший двух классных певцов-исполнителей.

Лирический тенор — Тит Епифанович Яковлев, исполнитель русских народных песен! Профессиональный оперный артист, завезенный на Колыму чуть ли не прямо с гастролей Большого театра в Париже. Баритон Саша Грызлов, по кличке «Часики»— кумир колымских женщин! Саша Часики — профессиональный жулик, «честный вор»,

имевший в своем репертуаре джазовые песни исключительно лирического, любовного жанра, единственно допустимого воровской цензурой к исполнению со сцены (без элементов конъюнктуры или агитации в пользу Советской власти).

Из жулья была и пара танцоров, «бацавших» лихо цыганские танцы...

Оригинальный жанр представлял иллюзионист Дима Волков — мой земляк, с мягкими, вкрадчивыми манерами джентльмена из мелодраматического заграничного фильма. Фанатик жанра, до сих пор удивляющий различными фокусами публику сочинских курортов!

После отъезда Никанорова пополнить раздел драматических артистов привезли меня в компанию к двум уже имевшимся в бригаде актерам. Все вместе мы и разыгрывали одноактные патриотические пьески и скетчи из эстрадных сборников.

За неимением женщин (тогда в культбригаду их еще не допускали) все женские роли, если они встречались, играли сами — как в японском театре «Кабуки»... Те из нас, кто был помоложе и смазливее. К ним принадлежал и наш новый руководитель — Гриша Маевский, недавно появившийся в бригаде из больницы Усть-Омчуга... Его сняли с этапа, проходившего через Усть-Омчуг, с острым приступом какой-то болезни. В больнице он провалялся три с лишним месяца и по выздоровлении оставлен был в культбригаде, актером.

Сразу после отъезда Никанорова в Магадан культурно-воспитательный отдел управления утвердил Гришу в качестве руководителя культбригады.

Таким образом, он стал совмещать обязанности актера, режиссера и администратора. Ему это нравилось... Ладить с начальством он умел, да и оно с ним считалось. В КВО к нему явно благоволили.

С нами он держался просто, не выпендривался, не строил из себя начальство. Иногда, правда, чувствовалась некоторая интонация превосходства, пижонство, свойственное молодым столичным актерам. Он и был москвичом.

В 1940 году завербовался на три года на Колыму, в Магаданский театр.

Причины, по которым люди добровольно меняли Москву на Магадан, были разные...

Молодых влекла романтика окраинных рубежей Ро-

дины — комсомол призывал осваивать Сибирь и Дальний Восток...

Многие ехали на Колыму за «длииным рублем», подзаработать.

Были и такие, кто сам предпочитал сменить на время Москву на Магадан, будучи не в ладах с Уголовным кодексом (таких примеров было полно).

Кое-кто выбирал «северо-восточный маршрут» заранее из осторожности: как-никак с Запада все сильнее и сильнее пахло «жареным»— уже громыхнуло в Финляндии! Большая война, подобно грозе, неотвратимо накатывалась...

Так или иначе, летом 1940 года коренной москвич Гриша Маевский, только что окончивший театральный институт (ГИТИС), появился в заполярном театре Магадана.

Сам по себе его поступок был нормальным и объяснимым.

Многие молодые актеры по окончании студий уезжали в провинциальные театры, из желания больше играть, приобретать опыт, нарабатывать репертуар...

Плюс ко всему, служба в заполярном театре давала право на северную надбавку к зарплате и сохраняла за актером жилплощадь в Москве на все договорное время работы в Заполярье. С этой стороны поступок его никакого недоумения не вызывал.

Смущало другое: сам Гриша мало был похож на человека, нуждающегося в колымских заработках, как, впрочем, и на идеалиста или романтика, без колебаний расставшегося с соблазнами столицы во имя подвижничества и чистой, бескорыстной любви к театру.

Наш интерес к нему подогревался еще и тем, что срок-то он схлопотал, будучи уже на Колыме, в театре! И срок приличный — червонец! (10 лет.) По самой паршивой статье —58.14 (контрреволюционный саботаж).

Надо быть семи пядей во лбу, чтобы с такой визитной карточкой не только попасть в культбригаду, но и утвердиться в должности бригадира-руководителя! Конечно, мы были заинтригованы.

Сам Гриша на эти темы никогда не заговаривал, а когда его спрашивали, отвечал иронически, в зависимости от ситуации и компании.

Иногда говорил: жажда приключений позвала его в необжитые суровые края...

Иногда говорил обратное: никакая не романтика, просто поехал заработать побольше денег...

В обоих случаях нельзя было понять: говорит он всерьез или шутит?

Так что истинную причину, приведшую его на Колыму, никто толком и не знал.

Честно говоря, в лагерях и не принято лезть в душу человеку вопреки его желанию. Это личное дело человека. Раз он молчит, значит, так и надо. Захочет рассказать — расскажет сам!

Своей экипировкой Гриша выгодно отличался от нас и был, кажется, единственным из всех, похожим на артиста. У него, вплоть до нижнего белья, сохранились еще свои вольные тряпки, переданные в культбригаду его друзьями из Магадана, между тем как мы, зеки довоенного «материкового» набора, давно щеголяли исключительно в фирменной гулаговской продукции...

На концертах (в лагерях и вольных поселках) он выступал в своем модном костюме цвета асфальта в светлую полоску, кокетливо сидевшем на нем, что лишний раз привлекало к нему внимание публики (особенно женщин) и как бы еще сильнее подчеркивало исключительность его положения среди нас. В довершение ко всему Гриша был красив как Саша Ширвинд (в молодости)!

Год своей жизни в культбригаде вспоминаю как санаторный курорт по сравнению с «Глухарем».

Правда, за это время дважды отдавал богу душу — болел дизентерией и воспалением лимфатических путей ноги...

В обоих случаях спасибо «врагу народа» доктору Пышкину — дорогому земляку, врачу Ленинградской военно-медицинской академии, вытащившему меня чуть ли не с того света.

Наш допотопный, из ничего сочиненный лагерными умельцами безродиый автобус, на удивление всем переживший всех своих именитых фирменных коллег, продолжал ползать по «долинам и по взгорьям» обширного Тенькинского управления, хотя и терял на каждом подъеме свои последние лошадиные силы... Подталкиваемый нами, чихая и кашляя, он мужественно преодолевал крутые, занесенные снегом вершины сопок и наледи рек — Теньки, Дусканьи, Минькобы и других, в долинах

которых располагались бесчисленные лагеря — адреса наших выступлений.

Во всей Теньке был один-единственный пункт, куда наш ветеран бежал, забыв свои старческие болезни, весело, не нуждаясь в подталкивании на перевале, это — горно-обогатительная фабрика «Вакханка»— единственный женский лагерь на Теньке! Эпицентр всех наших желаний!

«Вакханка»— место, где мужчины и женщины, увядшие и поглупевшие друг без друга за годы вынужденного воздержания, с удовольствием возвращались к радости бытия, лихорадочно, презрев все условности, вспоминали забытый ими ритуал продолжения рода человеческого.

С сотворения мира живая Природа ежегодно празднует время любви, время брачных игр.

С нашим приездом наступала пора брачных игр и на «Вакханке». И никакие угрозы начальства, никакие охранные меры оказывались в эти дни не в силах оторвать мужчину от женщины... Помешать торжествующей вакханалии любви!

В культбригаде я прижился довольно быстро. Играл в концертах, в скетчах, читал стихи Константина Симонова и других поэтов и даже танцевал «яблочко» в номере ритмического танца. Разве что не пел, и то по причине полного отсутствия таланта в этой области.

Конферировал Гриша Маевский, как самый представительный из нас и самый импозантный.

Гвоздь программы — оркестр! Половина музыкантов в нем — профессионалы с консерваторским образованием.

Оформлял наши программы художник Эрнст Эдуардович Валентинов. Слава богу, жив-здоров и по сие время! Работает в театре русской драмы в Киеве. В 1975 году мы свиделись с ним снова в Москве.

Польза от нас, от нашей культурной и патриотической деятельности, была несомненная. Каждый наш приезд хоть на короткое время, но скрашивал безрадостную лагерную жизнь, отвлекал от горькой, серой повседневности, вселял в людей надежду на близкую победу в войне, а вместе с победой и надежду на счастливые перемены в собственных судьбах. Поэтому везде, куда бы мы ни приехали, нам были рады, нас принимали как добрых вестников надежды. Мы помогали людям не падать духом, помогали терпеть!

На прииске «Пионер» куда мы приехали с концертом, ждали магаданское начальство. Как и всегда в таких случаях, местные власти срочно наводили глянец — заранее старались предусмотреть и ликвидировать в своем хозяйстве все то, что может вызвать неудовольствие или гнев высокого начальства.

Из лагеря в этот день повыгоняли в забой всех, кого можно и нельзя, вплоть до придурков. Не пощадили и нас — артистов, готовящихся к вечернему выступлению.

— С утра пусть поработают в забое, разомнутся хорошенько, а уж вечером и поиграют — ничего с ними не сделается!— распорядился начальник лагеря.— В зоне, кроме диевальных, никого не должно быть!

На разводе нас организовали в бригаду, и мы, под предводительством Гриши Маевского и под добродушное улюлюканье работяг лагеря, прошествовали в забой. Там нас определили на подсобные работы.

Начальник Дальстроя, Герой Социалистического Труда, генерал Никишов Иван Федорович появился где-то в середине дня.

В окружении огромной свиты начальства всех раигов полиовластный хозяин Колымы неспешиным шагом обходил забои. Небольшого роста, плотный, с непроницаемой миной на квадратном мужичьем лице, он молча выслушивал пояснения шустрившего рядом с ним начальника прииска. Тот говорил о чем-то, оживленно жестикулируя.

Тут-то ребята и подначили меня: «Слушай, Жорка! Когда еще тебе представится такая счастливая возможность?.. Ты же пересиживаешь свой срок, пользуйся случаем!.. Подойди к нему и попроси освободить тебя! Такое право у него есть. Бывали случаи, он освобождал самолично — тут же!..»—«Да пошел он со своим правом!.. Это право не для меня, я для него шпион!»— сопротивлялся я. «А чем ты рискуешь, дурак?! Ну, откажет... И что с этого?.. А вдруг угадаешь ему под настроение?.. Иди! Иди... Не ломайся!..»

Уговорили. Уж очень мне хотелось освободиться!

Я выбрался из забоя и встал на пути Никишова.

— Разрешите обратиться, граждании начальник Дальстроя?— Я дрожал перед ним как кролик перед удавом.

— Ну, слушаю.

— Я — Жженов Г. С., 1915 года рождения. Русский.

Репрессирован заочно Особым совещанием. Срок — 5 лет. Невиновен. С 5 июля 1943 года пересиживаю срок... Сколько же можно?! Просьба — освободите, пожалуйста!

— Где работаешь?— спросил он.

Мне бы, болвану, ответить, что в забое, а я по своему дурацкому прямодушию, глотая от волнения слезы, промямлил:

— В культбригаде.

Угрюмо глянув на меня, он отрубил:

— Ничего. Еще годик-другой поработаешь.

И, отстранив рукой с дороги, пошел дальше.

Пройдя несколько шагов, остановился, повернулся ко мне и спросил:

— А кто у вас бригадир?

Мы стали звать Гришу. К нашему удивлению, тот повел себя странно: вместо того чтобы сразу откликнуться и подойти, сделал вид, что не слышит, нахлобучил чуть ли не по самые глаза шапку, поднял воротник бушлата и норовил смыться от всех в дальний угол забоя.

Думая, что вопрос Никишова может как-то изменить мою судьбу к лучшему, ребята чуть ли не силой извлекли Гришу из забоя и представили пред светлые очи начальства.

Никишов, вытаращив глаза, уставился на Гришу Маевского. Лицо его побагровело. Никто ничего не понимал.

— Вы?!— только и смог произнести.

Потом повернулся к свите, разыскал глазами Лебедева («мою судьбу»), подозвал к себе и резко пошел прочь, на ходу о чем-то сердито выговаривая Николаю Ивановичу.

Все мы понимали, что произошло что-то неожиданное и неприятное, но что?.. Гриша на наши недоуменные взгляды не реагировал, молчал, явно подавленный чем-то. К вечеру стало ясно, что концерт не состоится. Маевский дал команду собираться. Он явно торопился уехать с «Пионера». Его тревога постепенно передалась и нам... И только когда все было погружено и наш ветеран медленно тронулся к воротам вахты, все вздохнули с облегчением. У вахты к автобусу подошел комендант лагеря с папкой в руке. Развернув папку, прочел:

— Маевский?

— Есть,— тихо отозвался Гриша.

— Инициалы?

— Григорий Михайлович.

— Год рождения?

— 1920-й.

— Статья?

— 58.14.

— Срок?

— 10 лет.

— С вещами.

Гриша молча взял свой узел и, ни с кем из нас не попрощавшись от растерянности, вышел из автобуса.

Комендант открыл ворота. Уже за вахтой автобус остановил Лебедев. Вошел... сел. Долго молчал, вглядываясь в каждого из нас... Ткнул в меня пальцем:

— Примешь бригаду. Куда едете?

— На Хиниканджу,— ответил я.

— Буду там через три дня. Обязательно найдешь меня. Поезжайте.— И вышел из автобуса.

Мы уехали.

Через три дня Лебедев появился в лагере на Хиникандже. Я подошел к нему.

— А, Жженов!.. Пойдем, поговорим.— Он вывел меня за вахту, выбрал место в сторонке на бревнах, мы сели... закурили.

— Что, интересно, да?

«Моя судьба», теперь уже не старший лейтенант, а капитан и уже не начальник одного лагеря, а начальник лагерей всего Тенькинского управления, рассказал мне следующее:

Москвич Гриша Маевский, заключив трудовой договор с заполярным театром, в 1940 году появился в Магадане. Работал в театре. Читал на радио. Руководил самодеятельностью. Словом, вел деятельную, энергичную жизнь, сулившую и в дальнейшем одни только радости... И вдруг война!..

Мировая война! Неизбежность, неотвратимость ее понимали, ждали, и все-таки... Как всякое несчастье, она свалилась неожиданно.

Первое время видимых изменений в его жизни не произошло. От войн Колыма откупалась золотом!

Место руководителя самодеятельности в Управлении вохры Дальстроя, полученное им с помощью друзей и генерала, за дочерью которого Гриша ухаживал, шло

как бы в зачет армейской службы; создавало лишь иллюзию причастности к армии, практически никак не отражаясь на его жизни: он как работал в театре, так и продолжал работать. Но тревога и какой-то безотчетный страх, появившийся в последнее время, не покидали его.

Отгремел, отошел в прошлое тяжелый 1941-й, унесший на старте войны первые миллионы человеческих жизней.

На смену ему пришел тяжелый 1942-й. Он подверг людей, помимо всего, еще и испытанию на прочность, на характер.

Отношения «материка» с Дальстроем были пересмотрены. Сорок второй наложил на Колыму контрибуцию: потребовал не только золото, но и людей.

В порту бухты Ногаево формировались караваны под новобранцев...

Настал день, когда иллюзия причастности обернулась для Гриши жуткой реальностью — его призвали в действующую армию.

Лихорадочные усилия получить бронь или, на худой конец, отсрочку успеха не имели. Друзья были бессильны... Его охватила паника: что делать?.. Был только один человек, способный помочь — его власть на Колыме безгранична!.. Только бы он захотел принять его, выслушать... Гриша решил пробиться к начальнику Дальстроя. И пробился. Никишов его принял.

Гриша Маевский всячески убеждал Ивана Федоровича в своей незаменимости здесь, в Магадане. Уверял, что в Дальстрое принесет государству больше пользы, чем на фронте... Говорил, что много и с успехом работает в театре, что театр без него окажется в трудном положении, радиокомитет тоже... Не забыл упомянуть и самодеятельность вохры... и, наконец, в попытке окончательно разжалобить Никишова и склонить на свою сторону, встал перед ним на колени и со слезами в глазах поведал свои дела сердечные.

Он любит девушку — она любит его! У них скоро состоится свадьба. Они молоды, счастливы! Отъезд на фронт — конец их счастью! Он умолял Никишова понять их, не разрушать их союз, умолял пощадить его жизнь.

Тактически весь ход был задуман правильно. Он ошибся только в одном — ошибся в самом Никишове.

Не угадал его характер. И проиграл. Проиграл позорно, с треском.

Поначалу Иван Федорович молчал, не понимая, чего хочет от него этот смазливый парень, принять которого еще сегодня утром настойчиво (в который раз) просила жена... Но когда наконец понял, о чем речь, аж задохнулся от ярости... А когда Гриша упал на колени и начал бормотать жалкие, слезливые слова, и вовсе рассвирепел:

— Встать!— скомандовал он.— Мерзавец!..

Гриша еще пытался что-то сказать...

— Молчать!— Никишов хватил по столу кулаком.— Трус! В то время, когда у меня даже заключенные десятками тысяч подают заявления с просьбой отправить их на фронт, ты, мразь эдакая, ползаешь в ногах, просишь пощады... от чего? От чего тебя, ублюдок, освободить?.. От святого долга защищать Родину? Откуда ты такой взялся, негодяй?! Счастья, видите ли, ему захотелось — нашел время!.. Вон от меня к чертовой матери!

И выгнал из кабинета.

Любого бы на месте Гриши эта позорная сцена повергла в отчаяние и, уж во всяком случае, заставила бы задуматься: а прав ли я?! Скорее всего, человек махнул бы рукой на все и смирился, разделив с другими участь своего поколения в эти трагические годы.

Но Гриша Маевский не покорился судьбе и не сломался.

Унизительный стыд от встречи с Никишовым был, конечно, но он быстро прошел, не оставив сомнений нравственного порядка, не зацепив душу.

Ослепленный животным страхом, он готов был на все, только бы не угодить на фронт!.. Он знал одно: на войне убивают, а он хочет жить! Жить во что бы то ни стало! Ему ведь всего двадцать два года!

Так в наши дни некоторые матери, забыв человеческое достоинство, унижаясь и кощунствуя, «спасают» своих чад от исполнения гражданского долга — службы в армии.

Друзья не оставили Гришу в беде. Ему дали совет спрятаться от армии года на два в... лагерь! Получить небольшой срок за какое-нибудь мелкое воровство или хулиганство.

За недостатком времени на раздумывание Гриша остановился на хулиганстве. Местом совершения преступления выбрал квартиру будущей тещи. Подпил для храбрости и, не теряя драгоценного времени, явился в дом своей невесты, где и инсценировал пьяный дебош: угрожая пистолетом, самовольно взятым из стола генерала, устроил своей невесте сцену ревности. А когда будущая теща пыталась разнять их, оскорбил ее неприличными словами и даже поцарапал слегка для верности (не с ее ли согласия?). Потом в припадке раскаяния пытался «покончить» с собой, стрельнув пару раз в потолок из генеральского пистолета.

Немедленно было возбуждено уголовное дело по статье 74 УК РСФСР, и буквально через пару недель (как и было задумано) бдительное правосудие объявило Грише Маевскому приговор: два года исправительно-трудовых лагерей, за хулиганство.

Этим бы вся эта история и закончилась, если бы не случайность. Жена Никишова устроила своему мужу сцену, упрекая за черствость и нежелание принять участие в судьбе симпатичного молодого артиста, доведенного до преступления и попытки самоубийства.

— А в чем дело?— настороженно спросил Никишов.

Та доверчиво рассказала ему о том, что произошло в доме генерала и чем все закончилось.

— Ах так!— только и сказал Иван Федорович жене.

После чего вызвал прокурора и приказал тому переквалифицировать дело Маевского с хулиганства на контрреволюционный саботаж.

И когда через некоторое время ему положили на стол приговор Военного трибунала по делу Маевского, осужденного по статье 58.14 к десяти годам лагеря, он собственноручно сделал приписку: «Использовать исключительно на общих подконвойных работах. Каждые три месяца докладывать мне лично о местонахождении заключенного. Никишов».

Так несчастья, одно за другим, росли в жизни Маевского.

Вскоре его этапировали в тайгу, на прииски Теньки. По пути, в Усть-Омчуге, друзья помогли ему отстать от этапа и лечь в больницу. Там он и провалялся три с лишним месяца с неизвестной болезнью, пока те же друзья из КВО МАГЛАГа не устроили ему перевод в

культбригаду. В ней Гриша и затерялся, исчез из поля зрения Никишова.

А после отъезда Никанорова в Магаданский театр его сделали руководителем культбригады.

И неизвестно, как бы сложилась его судьба дальше, не случись злополучной встречи с Никишовым на прииске «Пионер».

Вот такую историю услышал я от Лебедева о Грише Маевском.

— Что будет с ним теперь?— спроснл я.

— Что, что!.. Отправим на «Глухарь», вот что!— И добавил:— Туда ему и дорога, трус!

На «Глухаре» Гриша пробыл около полугода. Сполна хватил там горюшка, но выжил. В критический момент, когда уже начал «доходить», его брату удалось каким-то непостижимым образом, через своих друзей, работников снабжения принска нмени Буденного, установить контакт с ним. Гришу стали подкармливать...

Прииск Буденного находился через перевал от «Глухаря», по другую сторону сопки. Единственная возможность попасть туда сопряжена была с риском.

Сначала надо было незаметно от конвоя преодолеть охранное оцепление «Глухаря», затем одолеть по-пластунски сам перевал и уже по другую сторону голой, безлесой сопки, прячась за камнями, обмануть охрану прииска Буденного.

Только после этого, смешавшись в забойной суто-локе с местными работягами, можно было получить от верных людей в условленном месте ту нли иную помощь. И это еще не все, к вечеру весь этот путь с риском для жизни предстояло повторить еще раз — уже в обратном порядке, чтобы к концу рабочей смены снова оказаться в забое «Глухаря».

Этим опасным маршрутом пользовались блатные для своих темных дел... Пользовались им и работяги-лоточники из особо отчаянных, бегавших мыть золото на Буденный — там его было больше.

Тимошенковское начальство догадывалось, что вместе со «своим» золотом заключенные неслн и «чужое» (на каждом прниске золото разное, золото Буденного крупное, крупчатое), но до поры до времени смотрело на это сквозь пальцы, все равно, откуда бы нн несли, хоть с того света, лишь бы несли, сдавали его в кассу Тимошенко.

В свое время и я соблазнился «легким» золотом Буденного, набрался храбрости и пошел... В тот день мне удалось намыть там больше десяти дневных норм (какой резерв на случай непогоды или болезни!). Но играть и дальше в эти «фаталистические» игры, испытывать судьбу еще раз мне что-то не захотелось.

А ведь добраться туда с Тимошенко было несравненно легче и безопаснее, чем с «Глухаря», с его штрафным режимом охраны. Там риск быть подстреленным удесятерялся.

Поэтому характеризовать Гришу как труса я бы не торопился — все гораздо сложнее...

Такой маршрут не для труса. Да трус и не пошел бы!.. А он ходил, пользовался «дорогой жизни» не однажды и не дважды, а регулярно. Это был его единственный шанс! Ничего другого ему не оставалось. Других способов выжить в условиях «Глухаря» не было. И он, как загнанное животное, доверялся инстинкту.

Но человек не только животное. Человек тем и отличается от животного, что живет по закону разума... Не всегда в согласии со своими нравственными принципами и представлениями, но по закону разума.

Когда же нравственные тормоза отказывают и происходит интеллектуальный «перекос», когда животный инстинкт заглушает разум, берет верх, как это случилось в истории с призывом в армию, тогда жди беды!

Она и пришла, не заставила себя долго ждать. Для Гриши начались испытания на прочность... Беда, как известно, не приходит одна.

Сначала суровый приговор трибунала, потом встреча с Никишовым на «Пионере», и вот теперь новое испытание. А испытывать судьбу бесконечно нельзя. Игра в прятки с охраной кончилась плохо — Гришу подстрелили.

Охранник по кличке «Бурундук», маленький, плюгавый, злой, как хорек, сидевший в засаде на перевале, подловил его во время одного из походов на Буденный.

Подпустив к себе метров на тридцать, он заставил Гришу лечь на камни и не двигаться до прихода новой смены вохровцев.

До смены Бурундук не дотерпел. Ему надоело смотреть за Гришей, от скуки он стал развлекаться. Не торопясь, с упора погулял прицелом винтовки по распластанного

танной на огромном гранитном валуне неподвижной живой мишени, тщательно выцелил Грише руку и без всяких к тому причин, просто не удержавшись от охотничьего соблазна, отстрелил ее.

Гриша снова оказался в Усть-Омчуге в больнице, где уже находился однажды. Там ему и ампутировали руку.

Больница, в которой в течение ряда месяцев лежал Гриша, примыкала к зоне комендантского лагпункта, где мы репетировали новые программы. По возвращении из поездок мы носили ему кое-что из пищи, снабжали хлебом, табаком, словом, поддерживали его.

Осенью 1944 года несколько артистов тенькинской культбригады (в том числе и я) были удостоены признания начальства — нас перевели в центральную культбригаду, в Магаданский театр.

С тех пор долгое время о дальнейшей судьбе Гриши я ничего не знал. Слышал только, что по выздоровлении он снова загремел на «Глухарь».

В августе 1945 года оркестр Магаданского театра возвратился из гастрольной поездки по Теньке. Из Омчагской долины они привезли печальную новость: не выдержав штрафного режима «Глухаря», умер Гриша Маевский.

Прошли годы. И вот в конце пятидесятых, прогуливаясь в антракте по фойе Александринского театра в Ленинграде, где в тот вечер показывали «Гамлета», я столкнулся нос к носу с человеком, как две капли воды похожим на Гришу Маевского. Я опешил. Мы остановились друг перед другом, я в растерянности смотрел на него, он смотрел на меня и улыбался, довольный произведенным впечатлением... И тут только, разглядев, что у него нет руки, я все понял:

— Гришка? Ты?!

— Я, я!.. Здравствуй!— сдержанно, со всегдашней своей полуулыбкой ответил он.

— Смотри-ка!.. Ай-яй-яй... Здравствуй!.. А ведь мы похоронили тебя на «Глухаре»... Долго жить будешь!

— Постараюсь.

Для него встреча не была такой неожиданностью. Он мог знать, что я не умер и после реабилитации вернулся в Ленинград и работаю в театре... К тому времени я уже успел сняться в нескольких фильмах...

Для меня же встреча с ним была из области мистики, не иначе!.. И хотя мы оба не принадлежали к людям, бурно выражающим свои чувства, я не сразу пришел в себя от неожиданности.

Справедливости ради надо сказать, что мы никогда не были в особенно близких, дружеских отношениях, не были «корюшами», как говорят на флоте, мы были товарищами по несчастью. Оба вышли из одной купели. Оба были мечены «Глухарем» навсегда! Одно это обязывало нас обоих к проявлениям товарищества, солидарности друг с другом, при всей разнице характеров и взглядов на жизнь.

Когда охи и ахи кончились и разговор перешел в спокойное русло, я спросил Гришу: что он делает в Ленинграде?

— Работаю в Ленконцерте,— ответил он.

— Читаешь?

— Приходи в «Колизей»— увидишь.

Кончился антракт, мы разошлись...

Через несколько дней я зашел в кинотеатр «Колизей». Там в фойе, между сеансами, играл небольшой оркестрик. Гриша вел его программу и что-то читал сам... Мы кивнули друг другу в знак приветствия... Желания поговорить, вспомнить, рассказать о себе, расспросить меня он не выразил. Ну что ж, это его личное дело. Каждый живет по-своему... Я ушел.

В последующие годы, насколько мне известно, актерского имени себе Гриша Маевский так и не создал.

Наша последняя встреча в клубе «Жар-птица» в Париже явилась, как мне кажется, логическим завершением разных судеб людей, выпавших в свое время из одного «глухариного гнезда»...

Если встреча в Александринке была неожиданной главным образом для меня, то полной неожиданностью для Гриши Маевского было мое появление в Париже, выступление в «Жар-птице» и тот последний разговор с ним, в котором наши жизненные маршруты пересеклись еще раз, чтобы окончательно и навсегда разойтись — мой путь лежал домой, на Восток, его — на Запад, в неизвестность.

Послесловие

Прочитана последняя страница тягостных воспоминаний народного артиста СССР Георгия Степановича Жженова.

Признаюсь, я один из тех военных прокуроров, кто имел отношение к «делу» Жженова. Поясню, как это случилось.

В 1954 году состоялось мое назначение на должность заместителя главного военного прокурора.

В то время в аппарате Главной военной прокуратуры была создана специальная группа из военных прокуроров, не имевших ранее отношения к делам специальной подсудности (имеются в виду дела, расследованные органами НКВД — МГБ), для их пересмотра. Обнародование фактов произвола, творимого осужденными Берией, Абакумовым, Рюминым и их подручными, вызвало многочисленные жалобы и письма в ЦК КПСС, в правительство по поводу реабилитации невинно репрессированных. Среди них и жалоба от Марии Федоровны Щелкиной, адресованная Маленкову, ставшему после смерти Сталина главой Советского правительства. Рассмотрение жалобы было взято на особый контроль. Ожидали нашего решения...

Щелкина, мать киноактера Жженова, писала, что ее сын стал жертвой «ежово-бериевского произвола» и много лет «маялся» в лагерях, а потом на спецпоселении в Сибири. Жалоба заканчивалась мольбой: «Не дайте умереть матери, не повидав сына».

Мы навели справки. Выяснилось, что Жженов Георгий Степанович, 1915 года рождения, уроженец города Ленинграда, обвинен в шпионской деятельности, за что был дважды осужден. Значит, заниматься этим делом положено нам. Поясню почему. Дела на всех лиц (гражданских и военных), обвиненных в шпионаже, отнесены, по закону, к юрисдикции военной юстиции. Как же стало возможным обвинить честного человека в столь тяжком государственном преступлении, как шпионаж?

Прежде всего хочется подчеркнуть, что трагедия, которую

он пережнл, носит далеко не частный характер. Она обнажает многие негативные явления, относящиеся к соблюдению прав человека во времена «сталинизма», некоторые из которых, к сожалению, еще не устранены полностью и поныне.

Начну с того, что обрисую, насколько смогу, обстановку, которая сложилась в 1935—1938 годах в Ленинграде.

Сразу же после убийства Кирова начальником Управления НКВД города Ленинграда был назначеи комиссар государственной безопасности Заковский, сменивший прежнего начальника Медведя, не обеспечившего предупреждение террористического акта, за что и был арестован.

Новому начальнику были даны указания «очистить Ленинград от зиновьевского отребья».

Как это сделать, Заковский хорошо знал, иабравшись подобного опыта в работе под непосредственным руководством Ягоды и предавший забвению чекистские традиции, заложенные Дзержинским. Ягода вскоре был арестован. Заковского не тронули. Он был еще нужен...

Началась «кампания» массовых арестов, осуждения, выдворения из Ленинграда. Поначалу она косиулась действительных приверженцев Зиновьева, потом перекииулась на просто сочувствующнх «зиновьевцам», а затем... а затем судите сами, кого она затронула...

Как н следовало ожидать от сверхусердного Заковского, он перестал считаться с требованиями законности. В число контрреволюционеров попал и брат Жжеиова — Борис. Вся вина Бориса Степановича, талантливого студента Ленинградского университета, состояла в том, что он не принял участия в прощальной процессии при похоронах Кирова, сославшись, что у него нет теплой обуви. Это был суровый декабрь 1934 года...

При явной очевидности отсутствия какого-либо состава преступления в поступке Бориса Жжеиова, объясияемого к тому же уважительиыми мотивами, ему все же было предъявлено обвинение по статье 58.10 УК «за проведение контрреволюциоиной агитации и пропаганды». Он был осужден на несколько лет лишения свободы и отправлен в один из лагерей ГУЛАГа, откуда не вернулся.

Следом за Борисом была репрессирована почти вся семья Жженовых, коренных ленинградских жителей. Незаконно лишив пропнски, их выслали из Ленинграда. Георгию удалось остаться. Теперь мы зиаем, кто помог ему избежать этой ссылки. Но избавиться от «всевидящего и пристрастного ока» ему не удалось.

Не помоглн н «восставшие» военные прокуроры Ленинградского военного округа, которым стало известно о незаконных методах следствия, применяемых сотрудниками Заковского.

Здесь, кстати, я должен рассказать об этой истории, поскольку она имеет определенное отношение и к «делу» Жженова.

Военные прокуроры Ленинградского военного округа получили жалобу от одиого арестованного по подозрению в шпионаже о том, что сотрудники НКВД осуществили в отношении его провокацию. Будучи верующим человеком, он попросил свидания со священииком. К нему подослали «ряженого» сотрудника, который и оформил исповедь, как признаиие арестованного в шпионаже в пользу Польши. При проверке были выявлены и другие факты применения незаконных методов следствия. Военный прокурор Лениииградского военного округа Кузнецов сделал представление Заковскому о прекращеиии незаконной практики фальсификации следствеиных материалов и о наказании виновных. Заковский наложил резолюцию: «Так было, так и будет». И не только нагло отмел требования военного прокурора, ио и обвинил его во вредительстве, в противодействии борьбе с врагами народа. При попустительстве тогдашнего главного военииого прокурора Розовского диввоенюрист Кузнецов был арестоваи и приговорен к 15 годам лишения свободы. Ряд военных прокуроров округа также были наказаны «за ослабление борьбы с контрреволюцией и притупление бдительности».

Это буквально развязало руки авантюрным типам, в изобилии оказавшимся на следственной работе в аппарате Управления НКВД г. Ленинграда. Их начальник Заковский торжествовал победу.

В это время он лично и подписал очередиой ордер на арест Г. С. Жжеиова, еще одного шпиона, не сумевшего ускользиуть от бдительного «ока». Повод для ареста нашелся. В Управлении НКВД г. Ленинграда поступили сведения о состоявшемся знакомстве Жженова с америкаиским подданным Файвонмилем, одним из служащих посольства США в Москве. Как говорится в пословице — на ловца и зверь бежит...

Арестованный Жженов надеялся, что его внимательно выслушают следователи. Он расскажет, как случайно состоялось в поездке знакомство с Файвонмилем актерской группы, следовавшей в Комсомольск-на-Амуре сниматься в картине «Комсомольск». В открытой беседе, которая состоялась с американцем, не было ничего предосудительного, преступного.

Но надежды Георгия Степановича не оправдались. В ответ

он услышал от следователей Кириленко и Моргуля грубую брань, оскорбления, угрозы. Показания, которые давал Жженов, их не устраивали. Им было нужно признание.

Конечно, никто не был свидетелем истязаний и издевательств, которые учинили палачи Кириленко и Моргуль над Жженовым, но из нашей практики привлечения следователей-преступников к уголовной ответственности за применение незаконных методов следствия мы знаем, как они без смущения рассказывали на суде об этом «конвейере», считая его одним из самых «эффективных методов разоружения врагов». Они веровали сами и пытались убедить судей, что делали «правое дело», боролись с «врагами», которых «голыми руками не возьмешь», для них нужны «ежовые рукавицы». И снабдил их ими не кто иной, как сам Сталин.

А теперь обратимся к самому первому протоколу допроса, от 7 июля 1938 года, который следует за ордером на арест и как бы сразу оправдывает решение об аресте Георгия Степановича.

Из учиненных в протоколе допроса записей следует, что Жженов дал согласие Файвонмилю стать агентом американской разведки, получил задание собирать сведения о воинских частях Красной Армии, об их расположении в Ленинградском военном округе и вооружении; установить место нахождения в Ленинграде военных заводов и сообщать о количестве вырабатываемой ими продукции.

«Сочинителей» этих показаний нисколько не смущало, насколько нереальны подобные задания для человека, чья профессия — киноактер.

Что же «передал» Жженов американской разведке?

Он «сообщил» о перспективах развития Комсомольска-на-Амуре, о его промышленном и военном значении (ведь артист Жженов только что возвратился из Комсомольска-на-Амуре, где участвовал в съемках кинокартины).

«Сообщил» американской разведке он и о «политических настроениях киноработников «Ленфильма», где трудился с 1932 года (оказывается, в этом американская разведка остро нуждалась!).

На последующих допросах Жженов требовал от следователей записать, что показания первого допроса являются вымышленными. Он подтвердил лишь факт случайного знакомства с Файвонмилем и последующих встреч с ним, подчеркивая, что они всегда происходили в присутствии других лиц и были вполне невинными. Подобный поворот событий не устраивал следователей, но Георгий Степанович был тверд, непоколе-

бим. Он вступил в открытую борьбу с фальсификаторами, заранее предвидя, что его ожидает...

С этого времени Жженов пишет одну за другой жалобы, пишет всем, как он выражается, от кого может зависеть вмешательство в объективное решение его судьбы.

Но все его письма «канут в Лету». Многие из них вообще не выходили за пределы тюремных стен или лагерей. Действовала жесткая цензура, тем более в отношении письменных заявлений, где сообщалось о пытках и избиениях. А те жалобы, которые все же прорывались через запретные ограничения и кордоны и поступали адресатам, как правило, надлежащим образом не рассматривались.

Так обстояло дело, к глубокому сожалению, и в аппарате Прокуратуры СССР, и в аппарате Главной военной прокуратуры, сотрудники которых обязаны были нести повышенную ответственность в надзоре за соблюдением законности в отношении лиц, находящихся под следствием или отбывающих наказания в местах лишения свободы.

Несколько жалоб Жженова все же дошли до Главной военной прокуратуры. Их разыскали в подвале-архивохранилище, где они пролежали почти 20 лет.

Стоит некоторые выдержки из них процитировать:

«Во имя каких «высших соображений»— известных только моим следователям,— спрашивает Жженов,— и никому больше, нужно было посадить меня в тюрьму, оклеветать и сделать преступником?» Но ответа на свой вопрос Жженов так и не получил.

Просил он Верховного прокурора обратить внимание на следующее:

«В результате грубого, тенденциозного, антисоветского метода следствия, в результате ряда издевательств морального, психического и физического порядка я был вынужден поставить подпись под выдуманной, лживой, детективной историей». И вновь в ответ — молчание. Жженов даже с некоторой долею иронии рассуждает: «Меня обвиняют в шпионаже в войсках ЛВО и в оборонной промышленности Ленинграда. Чудовищно и смешно?! С таким успехом досужая фантазия моих следователей могла приписать мне поражение, понесенное англичанами от немцев при Ютландском бое, в империалистическую войну (забыв дату моего рождения) и т. д.».

Не сумел Жженов кого-либо убедить и своим проникновенным заявлением:

«Я много видел и перенес, несмотря ни на что был, есть и буду честным советским человеком».

Последние слова он написал крупными буквами, и все равно на них не обратили внимания.

Тринадцать месяцев, нарушая установленный законом обычный срок содержания под стражей подследственного, велось следствие по делу Жженова. Такое грубое нарушение закона не являлось каким-то редким явлением в тогдашней практике НКВД. Томительное, длительное содержание в тюремных условиях, в ожидании решения по делу, тоже входило в арсенал психического давления на арестованных, да в особенности на таких «строптивых», каким был Жженов.

Арестованные, находившиеся в полнейшей изоляции от внешнего мира, и не ведали, что в ноябре 1938 года произошли события, непосредственно касавшиеся их дальнейшей судьбы. Не знал о них, разумеется, и Георгий Степанович Жженов.

В ноябре 1938 года был арестован Ежов. Сталин убрал Ежова отнюдь не за непослушание или за то, что он делал «плохое дело». Нет, просто эта личность стала одиозной, нетерпимой сверх всякой меры. От него, от его действий нужно было решительно отмежеваться. Это было в манере Сталина. И тогда появилось решение, объявляющее действия Ежова преступными, вражескими, были осуждены и незаконные методы следствия, применяемые его сообщниками и многочисленными сотрудниками — исполнителями, выполнявшими ежовские указания «не церемониться с арестованными». Впредь было предложено вести расследование в органах НКВД со «строжайшим соблюдением всех норм уголовно-процессуального законодательства».

Честные, принципиальные коммунисты, которых было немало среди сотрудников органов НКВД, суда и прокуратуры, воспрянули духом. Они стали более уверенно бороться за соблюдение требований закона. Ряд невинно арестованных были выпущены из тюрем и лагерей, избежали неправосудного осуждения. Эти же коммунисты потребовали и партийной, судебной ответственности для тех, кто в корыстных, авантюристических целях творил произвол, изощрялся в глумлении над арестованными. Многих преступников, которых Жженов назвал «палачами в мундирах НКВД», арестовывали и предельно жестко наказывали.

Наступило справедливое неотвратимое возмездие, правда не всех «отрезвившее»...

Возмездие коснулось и некоторых сотрудников Управления НКВД Ленинграда и самого Заковского. Он был арестован.

Пересмотрено было и дело бывшего военного прокурора Ленинградского военного округа Кузнецова. Его освобо-

дили из лагеря, но на прежней работе не восстановили. В этом проявилась суть уже иного отношения к вышеупомянутому постановлению.

Новый нарком внутренних дел Берия, провозгласив в своих приказах и директивах требование строжайшего соблюдения законности в следственной работе, лишь маскировал свое истинное отношение к законности. «Шок», который поначалу наступил у следователей, стал быстро исчезать. Берия лично демонстрировал на допросах «беспощадное отиошение к неразоружающимся арестованным», которых ои и ие думал выпускать, хотя знал, что они жертвы Сталина и Ежова. Правда, под напором сложившегося нетерпимого отношения к палачам-следователям он был вынуждеи дать согласие иа арест некоторых из иих, сохранив, однако, многих, считавшихся иепревзойденными мастерами по «выколачиванию признаний». К момеиту ареста самого Берии многие из этих «специалистов» дошли до высоких должностей и воинских званий.

Вместо Заковского Ленинградское управлеине НКВД возглавил комиссар государственной безопасности Гоглидзе. Берия знал, кого надо было послать в Лениинград, где работа по «выкорчевыванию врагов», по его мению, еще далека до завершения и ее иадо умеючи продолжать.

Гоглидзе оправдал надежды своего шефа. Не случайно он стал позже заместителем министра внутренних дел СССР и одним из активнейших соучастников в подготовке после смерти Сталина антисоветского заговора с целью захвата Берией власти. Справедливое, неотразимое возмездие настигло в конце концов и этого злодея, в чем, может быть, и есть какое-то утешение для Георгия Степановича и для многих других, ставших жертвами Гоглидзе.

После смены руководства НКВД Жженов был переведен в «Кресты» и попал в число тех, кто был отправлен, по их меткому определению, «на консервацию».

А тем временем следователи думали, что делать вот с такими, как Жженов. Объективных, достаточных доказательств их виновности нет. От «своих» показаний оии отказались, пишут жалобы, что их били, истязали, заявляют об этом появившимся в тюрьмах прокурорам, а те требуют приобщения к делу заявлений подследственных. Неужто их придется выпускать на свободу, да еще «пачками»? Ведь нх много...

Гоглидзе находит решение. «Политических» снова возвращают из «Крестов» во внутренюю тюрьму управления.

Не трудно представить себе диалог нового иачальиика управлеиия Гоглидзе со следователями:

«Что вы нос повесили?.. Мы не можем и не должны пасовать перед сопротивляющимися врагами. Нужно снова дать им почувствовать, что мы сильны, что мы не отступим перед их «увертками», что дело борьбы с врагами народа не снято с повестки дня. Читайте постановлеиие январского, 1938 года, Пленума, выступление Сталина. Там четко сказано: революционную бдительность повышать и дальше, а борьбу с врагами усиливать. И ни слова о какой-то там законности. Ясно?..»

Ясней не скажешь. Кто же такой Жженов? Американский шпион. Неразоружившийся враг. Значит, с ним надо продолжать обращаться так же, как и раньше.

Вспомните те страницы, где Жженов описывает новый этап «наступления» на него. Правда, действуют уже другие следователи, но и они пользуются все такими же методами, как и их предшествеиники. Ничего ие изменилось.

Но Жженов не уступил и теперь. Тогда нашли выход — отправить его в лагерь. Это не сложно сделать. Следователям было предоставлено право виосить предложения о направлении дел на рассмотрение Особого совещания, оии даже могли заранее заготовить протокол заседания этого совещания и написать срок, на какой следует отправить в лагерь своих «подопечных». Как правило, с предложением следователя соглашались. Ему видней...

Несколько слов об истории Особого совещания при народном комиссаре внутренних дел СССР. Этот особый внесудебный административный орган появился у нас в 1932 году, одновременно с образованием НКВД взамен ликвидированного ОГПУ.

Сталин наделил Особое совещание правом определять судьбу арестованных НКВД, которые относились к числу лиц из «ожесточенно сопротивляющихся классов». Виновность их потенциально предполагалась, хотя и не всегда была очевидной, доказанной. Поэтому дела рассматривались заочно, в отсутствие обвиияемого, без заслушивания его объяснений, без вызова свидетелей и, безусловно, без участия защитника. Особое совещание было вправе подвергать заключению в лагерь до 8 лет, направлять в ссылку сроком до 5 лет и на тот же срок выселять с запрещением проживания в столицах, крупных городах и промышленных центрах СССР, полностью или частичио конфисковывать личиое имущество осужденных.

Можно только удивляться, как Сталин позволил скопировать, для создания у нас Особого совещания, реакционные законы царя Александра III (правила «О порядке действия чинов корпуса жандармов по исследованию преступлеиия от 19 мая

1871 года» и Положения от 14 августа 1881 года). Сталин не мог не знать, что министру внутренних дел царского правительства была предоставлена возможность карать арестованных жандармерией, когда:

«— не нашлось явных признаков и достаточиых следов преступления;

— когда совершены деяния, кара за которые еще не вошла в уложение о наказаниях или кои вовсе не упомянуты в законе;

— когда уличающие сведения добыты путем совершенно секретным и не могут быть подтверждены фактически».

В итоге жандармы имели право арестовать любого человека без каких-либо доказательств его виновности, за деяние, не признанное законом преступлением, на основании не подлежащих проверке сведений...

Надо полагать, что революционер-подпольщик Иосиф Джугашвили не мог не следить за освещением в печати судебного процесса по делу петербургской группы РСДРП (Процесс 44-х), состоявшегося в 1906 году в Петербурге.

Выступивший в защиту подсудимых на этом процессе присяжный поверенный В. Н. Новиков начал свою речь словами: «Господа судьи! Ведь это не новый факт, что жандармское дознание, хотя бы и произведенное в порядке Устава уголовного судопроизводства, не обладает достоверностью и что наша политическая полиция не стоит на высоте своего назначения и дознания, проводимые ею, не имеют никакой цены. Почти на каждой странице обвинительного акта имеются фразы: «По полученным охранным отделением сведениям», «до сведения охранного отделения дошло». Чо это за фразы? Что это за сведения?»

Точь-в-точь теми же словами можно сказать и об обвинительном заключении, составленном следователями по «делу» Жженова. Берия воспользовался своим правом и единолично решил его судьбу. Решением Особого совещания Жженов Георгий Степанович был заключен в лагерь сроком на 5 лет. Как отбывал это наказание, он написал. К его словам трудно что-либо добавить, разве еще раз обратиться к жалобам Жженова, которые он писал и из лагеря. Обращаясь к Верховному прокурору, заключенный Жженов категорично заявляет:

«Я протестую против Особого совещания. Никаких материалов виновности нет. Все построено на вымысле. Ни единого свидетельского показания. Несмотря на все пережитое за 2 года заключения, я был, есть и останусь честным советским человеком. Свое заключение квалифицирую как акт вражеской

деятельности лиц, повесивших мне на всю жизнь бирку «контрреволюционер». Прошу снять с меня эту подлую бирку».

И на этот раз не был услышан его протест. А ведь Генеральному прокурору было предоставлено право опротестовывать необоснованные постановления Особого совещания. Но достоверно известно — ни одного такого протеста не существует. А необоснованных постановлений было масса...

Отбыв незаслуженное наказание, Жженов вернулся к своему любимому делу — стал артистом, правда, не столичного, а периферийного театра. Добросовестно трудился. Честно жил. Хотя и маленькое счастье, но улыбнулось. Только не надолго. В 1949 году последовал новый арест.

Прав оказался Георгий Степанович: бирка «контрреволюционер» была повешена ему на всю жизнь.

Мы посмотрели и второе его «дело». Ничего нового в нем не было. Все переписано от начала до конца со старого.

За одно и то же выдуманное преступление повторное наказание, тем же Особым совещанием, на тот же срок. И снова испытания, да еще какие, еще более тяжкие, о которых спокойно нельзя читать. Если бы «творцы» подобного беззакония, да и те, кто еще отстаивает непорочность «всех без исключения идей и дел великого вождя», испытали все это!

Как не вспомнить, что Берия, даже после смерти Сталина, основателя Особого совещания, продолжал сохранять и держать в своих коварных руках этот испытаннейший инструмент повиновения и страха. Он нужен был Берии и для осуществления своих заговорщицких планов.

Надо отдать должное Никите Сергеевичу Хрущеву. Это по его настоянию, я достоверно знаю, сразу же после ареста Берии было принято решение (1 сентября 1953 года) о ликвидации Особого совещания. Вот уже свыше 35 лет наше государство обходится без него. Советский народ избавлен от повторения того, что пришлось испытать в своей жизни Жженову, и не только ему...

Ныне никто не может быть наказан в уголовном порядке иначе как по суду, мы заботимся о том, чтобы каждый приговор был справедливым.

На бирке, которой «наградили» Георгия Степановича Жженова, было слово «контрреволюционер».

Ошиблись ее авторы. Согласитесь со мной, он настоящий революционер... И это он доказал.

В знак признательности пожмем ему руку...

Генерал-лейтенант юстиции в отставке,
кандидат юридических наук Б. Викторов

Содержание

От автора 5
Детство *Рассказ* 22
Что делать? *Рассказ* 29
Арест *Рассказ* 40
«Кресты» *Рассказ* 43
47-й километр *Рассказ* 51
Саночки *Рассказ* 55
От «Глухаря» до «Жар-птицы» *Повесть* 86
Послесловие *Б. Викторов* 150

ЖЖЕНОВ Георгий Степанович

Повесть и рассказы

Редактор **М. Вострышев**
Художник **А. Сергеев**
Художественный редактор **Г. Саленков**
Технический редактор **В. Котова**
Корректор **В. Дробышева**

ИБ № 5538

Сдано в набор 25.11.88. Подписано к печати 03.02.89. А04128. Формат 84×108 1/32. Гарнитура литературная. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Кн.-журн. Усл. краск.-отт. 8,4. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 8,95. Тираж 100 000 экз. Заказ 3892. Цена 85 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Республиканская ордена «Знак Почета» типография им. П. Ф. Анохина Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
185630, Петрозаводск, ул. «Правды», 4